340
M159

В. А. Маклаковъ.

# О. Н. ПЛЕВАКО.

3[illegible]
M15[illegible]

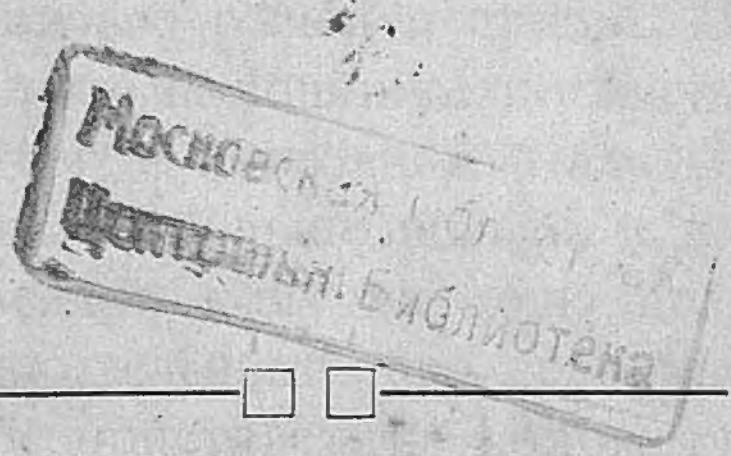
ТИПОГРАФІЯ В. М. САБЛИНА.
Петровка, домъ Обидиной. Телефонъ 131-34.
Москва — 1910.

В. Маклаковъ.

ПРОВЕРЕНО ЗАГ.

# Θ. Н. ПЛЕВАКО.

Лекція, прочитанная въ маѣ 1909 года въ Петербургѣ въ Обществѣ любителей ораторскаго искусства.




3½0
М159
Московская Центральная
Публичная Библиотека

Типографія В. М. Саблина.
Москва, Петровка, домъ Обидиной. Телефонъ 131-34.
1910.

N 5[illegible]6

# Ѳ. Н. ПЛЕВАКО.

**(Лекція, прочитанная въ маѣ 1909 года въ Петербургѣ въ Обществѣ любителей ораторскаго искусства [1]).**

Мое сообщеніе требуетъ нѣкотораго предисловія и, пожалуй, оправданія; оно или преждевременно, или запоздало. Запоздало, если его цѣль — только почтить память Плевако; преждевременно, если оно — попытка дать характеристику его, какъ оратора.

И не только потому, что сейчасъ мы находимся подъ тѣмъ свѣжимъ его впечатлѣніемъ, которое объективному анализу не помогаетъ; но потому, что у насъ еще нѣтъ самаго необходимаго — изданія его рѣчей и статей. Много разъ при жизни и онъ самъ, и его помощники затѣвали такое изданіе; оно оставалось затѣей и постоянно откладывалось. Теперь этого не будетъ; ждать больше нельзя, и изданіе въ хорошихъ рукахъ [2]); всякій, кому на долю не выпало случая знать Плевако лично, слышать его говорящимъ, прочтетъ его рѣчи и [redacted]мъ безпристрастнѣе поможетъ намъ понять,

---

[1]) Настоящая лекція была прочитана въ засѣданіи Общества любителей ораторскаго искусства, посвященномъ памяти Ѳ. Н. Плевако, вмѣстѣ съ сообщеніемъ А. Ѳ. Кони (напечатаннымъ позднѣе въ Нивѣ), П. М. Невѣжина и друг. Подобное же чествованіе предполагалось и въ Москвѣ; въ виду этого, разсчитывая принять въ немъ участіе, я не хотѣлъ печатать того доклада, который былъ только первой и потому нѣсколько поспѣшной данью памяти покойнаго. Однако въ Москвѣ до сихъ поръ ничего не устроилось, и я помѣщаю этотъ теперь уже запоздалый докладъ въ надеждѣ, что, несмотря на поспѣшность, онъ все-таки нѣкоторый интересъ можетъ представить.

[2]) Въ настоящее время вышло уже два тома его рѣчей подъ редакціей Н. К. Муравьева.

что́ онъ былъ какъ ораторъ. Мое изложеніе покажетъ, впрочемъ, что я такою цѣлью не задаюсь: я имѣю въ виду дать только то, что носитъ общее названіе «матеріаловъ»; характеристика будетъ дѣломъ другого. Лицо, которое было хорошо поставлено для наблюденія, должно не смущаясь давать все, что можетъ; его оправданіе въ томъ, что онъ видѣлъ то, чего, можетъ быть, другіе не видѣли. Потомъ само собой опредѣлится, были ли его наблюденія цѣнны; судить объ этомъ труднѣе всего именно ему самому. А я былъ какъ разъ въ такомъ положеніи; я зналъ Плевако недолго, лѣтъ 10—12, но зато зналъ очень близко, видалъ иногда по нѣсколько разъ въ одинъ день; видалъ съ разныхъ сторонъ; не только какъ онъ исполнялъ свое дѣло, но и какъ къ нему подготовлялся. Я хотѣлъ бы поэтому безхитростно передать мои наблюденія, которыя касаются одной стороны сложной фигуры Плевако — его, какъ оратора; и если я иногда не смогу удержаться отъ выводовъ, то пусть этого мнѣ не ставятъ въ вину; это только невольная уступка слабости ума человѣка, который не умѣетъ наблюдать и, особенно, излагать не обобщая.

Выдѣляя эту сторону фигуры Плевако — его значеніе, какъ оратора, я не руководствуюсь только назначеніемъ общества, среди котораго я имѣю честь говорить; репутація оратора давно сочеталась съ Плевако какъ его главное свойство, почти какъ его синонимъ.

Что Плевако былъ превосходнымъ юристомъ и, какъ говорятъ компетентные люди, тонкимъ богословомъ, знаютъ не всѣ, но всѣ знаютъ, что ораторомъ онъ былъ несравненнымъ, внѣ конкурса. Репутацію эту онъ сумѣлъ сдѣлать народной. Въ тѣ времена, когда слово «ораторъ» было еще неизвѣстно народному языку, не было брошено революціонной волной въ оборотъ въ смыслѣ митинговаго агитатора, а терминъ «адвокатъ», передѣланный въ «аблакатъ», вызывалъ представленіе о продажномъ, подпольномъ ходатаѣ, народный языкъ уже начиналъ усвоивать новое слово «плевака», какъ исключительнаго мастера слова и судебнаго дѣла. «Найду другого «Плеваку», говорили и писали безъ всякой иронiи, и это отмѣчало то смутное, но глубокое впечатлѣніе, которое искусство и громкая слава Плевако успѣли

произвести на народное воображеніе; и народная мысль, которая такъ жадно ищетъ національныхъ героевъ, которой это новое дѣло — публичное слово — было мало знакомо, тѣмъ не менѣе, какъ исключеніе, именно за это непонятное дѣло уже заносила Плевако въ число народныхъ избранниковъ.

Она отмѣтила его и другимъ свойствомъ, которымъ надѣляетъ любимцевъ: сдѣлала его героемъ легендъ, анекдотовъ и розсказней. Личность Плевако сдѣлалась легендарной, ни о комъ не ходило столько сплетенъ и миѳовъ. Они заполнили его некрологи, ими болѣе всего наполнены всѣ о немъ воспоминанія. Бо́льшая часть ихъ — досужіе вымыслы, и они характерны только какъ показатель того интереса и обаянія, которые вызывала къ себѣ его личность.

Но Плевако былъ популяренъ не только въ народной толпѣ; мы должны то же сказать про болѣе тѣсный кругъ, про образованное, читающее общество. Его нельзя упрекнуть въ томъ, чтобы оно къ народнымъ любимцамъ относилось безъ критики. Критики не избѣгъ и Плевако. Всегда и особенно въ послѣднее время, какъ расплодилось такъ много ораторовъ, и старыхъ и молодыхъ, было въ модѣ къ Плевако относиться нѣсколько свысока; стало общимъ мѣстомъ указывать на безсодержательность его рѣчей, недостаточное знаніе дѣла, недостаточную его разработку. Во всемъ этомъ есть правда. Его рѣчи часто и даже обыкновенно вопроса до конца не исчерпываютъ, въ нихъ нерѣдко сквозитъ плохое знаніе подробностей дѣла и т. д. Не трудно найти ораторовъ и особенно отдѣльныя рѣчи, которыя можно поставить выше его по разнообразію и силѣ аргументовъ, по ясности и точности языка, по стройности плана. Все это такъ. Но и тѣ великолѣпные ораторы, которые его критикуютъ, не будутъ отрицать одного: совершенно исключительной, загадочной силы рѣчи Плевако.

Было бы ошибкой думать, что причина лежитъ въ какомъ-либо особомъ талантѣ произнесенія рѣчи, — далеко нѣтъ. Я думаю даже, что такого особаго таланта и не было; много его соперниковъ съ этой стороны были одарены природой лучше. Исключительная сила Плевако лежала въ оригинальномъ, не похожемъ на что-либо другое, содержаніи

его рѣчи, въ своеобразномъ впечатлѣніи, подъ которымъ онъ оставлялъ своихъ слушателей; понять Плевако можно только тогда, когда поймешь сущность этого своеобразія.

А что оно было, показываетъ не только простое, непосредственное впечатлѣніе, а объективные факты. Сколько лѣтъ онъ жилъ, сколько работалъ, сколько прошло около него учениковъ и помощниковъ, и ничего похожаго на школу онъ не оставилъ. Среди нашей адвокатуры онъ стоитъ одинокимъ и единственнымъ. Учиться у него, подражать ему — безнадежно и вредно. Научиться у него можно только дурнымъ привычкамъ, подражать — выйдетъ смѣшно и забавно. Какъ ясно видимъ мы школы другихъ корифеевъ адвокатуры, вліяніе ихъ примѣра, преемственность пріемовъ и свойствъ. Ничего подобнаго не осталось послѣ Плевако. Мало кто его хоть слегка напоминаетъ и навѣрное никто не замѣнитъ.

И потому-то такъ полезно вникнуть въ основныя черты его краснорѣчія; онѣ поучительнѣе, чѣмъ можетъ казаться, и не съ точки зрѣнія ораторства только: онѣ даютъ нѣкоторый ключъ къ уразумѣнію величайшей психологической тайны, власти надъ народной душой.

Говоря объ ораторѣ, особенно въ нашемъ обществѣ, нельзя обойти перваго, внѣшняго свойства оратора, техники рѣчи. Но дѣлаю это съ оговоркой и большой неохотой. Давно пора признать, что все это второстепенное, что считать это главнымъ—все равно, что главнымъ въ книгѣ считать тотъ шрифтъ, которымъ она напечатана. Болѣе того: увлеченіе внѣшней красотой рѣчи, забота о ней могутъ быть прямо губительны. Не говоря о томъ, что стремленіе развить въ себѣ это свойство, если оно не дано отъ природы, отвлекаетъ заботы, силы и время отъ того, что несравненно нужнѣе. Я знаю примѣры и могъ бы назвать имена многимъ извѣстныя, гдѣ это свойство — природное или пріобрѣтенное — губило людей. Они невольно подпадали подъ гипнозъ своего краснорѣчія, особенно благодаря легковѣснымъ похваламъ поспѣшныхъ цѣнителей, считали себя ораторами только оттого, что говорили красиво, и, увѣренные въ томъ, что языкъ ихъ не выдастъ, что онъ не остановится, нани-

зывали фразу на фразу, не давая себѣ труда задуматься надъ содержаніемъ рѣчи. Какъ бы выиграли они, если бы у нихъ не было этого совершеннаго механизма, если бы они чувствовали, что ихъ слово немедленно запнется тамъ, гдѣ затуманится мысль! И какъ неразумно и нерасчетливо видѣть задачу и силу оратора въ этой внѣшней сторонѣ его рѣчи, имѣя образцы и примѣры тѣхъ, кто умѣлъ потрясать слушателей непослушнымъ, заплетающимся языкомъ, какъ Спасовичъ, какъ Бисмаркъ!

Но если переоцѣнка этого дара — опасный соблазнъ, то это все же даръ, и Плевако онъ былъ данъ въ изобиліи; и онъ получилъ его отъ природы, безъ малѣйшей заботы о немъ, не понимая даже, какое въ немъ преимущество.

Онъ обладалъ прежде всего поистинѣ изумительною свободою рѣчи, т.-е. умѣніемъ безъ запинокъ, безъ остановокъ находить нужныя слова, располагать ихъ въ правильныя и плавныя фразы. Въ наше разговорное и болтливое время, когда всѣ научились легко говорить, это свойство покажется безразличнымъ; но съ перваго взгляда трудно оцѣнить, какимъ трудомъ и, главное, за чей счетъ это достигнуто многими. Я говорю трудомъ, ибо многіе достигаютъ его тщательной работой, обдумываніемъ, запоминаніемъ самаго текста произносимыхъ рѣчей; это бываетъ гораздо чаще, чѣмъ можно судить по ссылкамъ на это. Эта работа обыкновенно сознательно скрывается или инстинктивно преуменьшается. Всѣмъ больше нравятся лавры Моцарта, чѣмъ Сальери, и болѣе лестно слыть талантливымъ бездѣльникомъ, чѣмъ научившимся труженикомъ. Многіе наивно лукавятъ и съ собой и съ другими, тщательно скрывая эту работу. Еще менѣе видна та своеобразная дань, которую многіе платятъ за свободную рѣчь. Она часто требуетъ извѣстныхъ сопутствующихъ условій, внѣ которыхъ она исчезаетъ. Всѣмъ извѣстны факты, какъ люди, блистающіе остроуміемъ, живостью и образностью рѣчи въ обыкновенномъ разговорѣ, т.-е. при полномъ спокойствіи и непринужденности, утрачивали эти свойства при томъ волненіи, которое испытываетъ всякій произносящій публичное слово. Въ Москвѣ былъ, покойный нынѣ, профессоръ, увлекательный собесѣдникъ, который до старости терялъ на каѳедрѣ всѣ свои

привычныя свойства и могъ только читать по написанному. Можетъ быть, менѣе извѣстно обратное, когда для гладкой рѣчи необходимо то нервное напряженіе, которое даетъ самому привычному оратору многочисленная аудиторія. Безъ нея онъ теряетъ власть надъ словомъ, рѣчь становится прерывистой, неправильной и затрудненной. Когда мы встрѣчаемъ людей, которые въ обыкновенномъ разговорѣ говорятъ приподнятымъ языкомъ, говорятъ, какъ пишутъ, слишкомъ правильно и торжественно, мы, вышучивая это, какъ дурную привычку, часто не понимаемъ, что не отсутствіе вкуса, а инстинктивное взвинчиваніе себя для того, чтобы овладѣть своей рѣчью, причина этой привычки. У другихъ бываютъ иныя причуды: чтобы говорить свободно и плавно, одному нужно говорить быстро и громко; этимъ онъ поднимаетъ себя до того напряженія, при которомъ можетъ владѣть своимъ словомъ. Иной можетъ говорить только стоя и затрудняется сидя; иному нужна широкая жестикуляція, и онъ безсиленъ при неподвижности. Ошибочно думать, что всѣ эти свойства — громогласность, жесты, быстрота, все это случайныя привычки, отъ которыхъ при желаніи можно отдѣлаться; это часто дорогая цѣна, которую ораторъ уплачиваетъ за обладаніе словомъ. Конечно, многія изъ нихъ сами по себѣ ему не мѣшаютъ, и самъ онъ, и другіе скоро къ нимъ привыкаютъ. Но все же онѣ стѣсняютъ свободу; даже больше: такъ какъ голосъ, жесты, темпъ вмѣстѣ съ содержаніемъ составляютъ то цѣльное, что называется тономъ, то погоня за плавностью рѣчи, для того, кто ей, какъ таковой, дорожитъ, незамѣтно отзывается и на содержаніи, на общемъ духѣ сказанной рѣчи; есть ораторы, которые постоянно горячатся и негодуютъ даже безъ всякаго къ этому повода только потому, что иначе ихъ языкъ не послушается и рѣчь гладкой не выйдетъ.

Всѣ эти затрудненія не были знакомы Плевако; онъ обладалъ совершенно безусловной, поистинѣ завидной свободою рѣчи. Она не покидала его никогда и нигдѣ, не стоила ему ни малѣйшаго напряженія, давалась даромъ въ полномъ смыслѣ этого слова. За адвокатскимъ пюпитромъ и въ застольной бесѣдѣ, передъ тысячью людей или съ глазу на глазъ, стоя, сидя или лежа, жестикулируя, или руки по

швамъ, громко или шопотомъ, поучая или балагуря, воодушевляясь или просто диктуя, онъ былъ все тѣмъ же; не искалъ словъ, не обдумывалъ фразы; слова послушной толпой сами собой слагались въ правильныя предложенія, точно выражающія мысль. Какъ нашъ языкъ самъ собой, безъ участія сознанія или воли, находитъ тѣ движенія, которыя издаютъ желательный звукъ, нужный для слова, такъ это свойство у Плевако шло дальше, и слова такъ же инстинктивно складывались въ фразу, нужную для выраженія мысли. Ему не требовалось ни малѣйшаго труда, чтобы этого достигнуть; потому у него и не являлось сомнѣнія, что слово можетъ ему измѣнить. Что это было такъ, я сужу не только по внѣшнимъ впечатлѣніямъ, это подтверждается разнообразными наблюденіями.

Это доказываетъ прежде всего его подготовка къ рѣчамъ. Онъ часто писалъ черновики для рѣчей, и тѣ великолѣпные ораторы, которые дарятъ насъ однѣми импровизаціями, нерѣдко утверждаютъ, будто всякая плевакинская рѣчь заранѣе до тонкости обдумана, всѣ остроты предварительно приготовлены и записаны. У меня въ рукахъ было много его черновиковъ, и не могу не пожалѣть, что я недостаточно ими дорожилъ и ни одного не сохранилъ. Всякій, кому случалось сидѣть съ Плевако за дѣлѣ, помнитъ, что любимымъ его занятіемъ, пока сотрудники задавали вопросы, было писаніе рѣчи; онъ ихъ писалъ обыкновенно на длинныхъ полулистахъ, которые потомъ склеивалъ въ ленты; писалъ по нѣскольку разъ, бросая то, что написано, и начиная вновь. Онѣ были разнообразны по формѣ. Иногда, хотя рѣдко, это была цѣлая подробная рѣчь, которая могла бы быть въ такомъ видѣ и сказана; иногда это были полунамеки, отдѣльныя, часто загадочныя слова. Одно можно было замѣтить почти постоянно: то, что потомъ было сказано, мало соотвѣтствовало тому, что было написано; часто мѣнялся и планъ, и все расположеніе рѣчи, и не было уже рѣшительно никакого сходства въ способахъ выраженія мысли, въ самой редакціи рѣчи. Если иногда, быть можетъ, и сохранялись какія-либо отдѣльныя, удачныя выраженія, даже остроты или эффектныя фразы, то это было тѣмъ исключеніемъ, которое только подтверждаетъ общее правило: те-

кста рѣчи Плевако не готовилъ, и если писалъ его, то не затѣмъ, чтобы его повторить.

Очевидно, писаніе рѣчи имѣло другой смыслъ и цѣль. Готовить текстъ ему было просто не нужно, у него не могло явиться сомнѣнія, что необходимыя слова въ соотвѣтственную минуту найдутся. Это обнаруживалось иногда съ большою наглядностью. Помню, какъ однажды мы вмѣстѣ защищали дѣло о поджогѣ въ гор. Троицкѣ, Оренбургской губерніи, его родинѣ, куда онъ поѣхалъ на защиту, чтобы увидать городъ, гдѣ родился и который покинулъ ребенкомъ. Дѣло было съ очень сложнымъ матеріаломъ: тутъ были и противорѣчивые свидѣтели, обличавшіе другъ друга и во лжи, и въ продажности, какъ это часто бываетъ у восточныхъ людей, была и экспертиза, выяснявшая стоимость сгорѣвшаго хлѣба, и т. д. Предоставивъ своимъ товарищамъ говорить первымъ и поручивъ имъ исчерпать весь матеріалъ, Плевако оставилъ за собой задачу подвести итогъ, подчеркнуть основные спорные пункты процесса. Передъ нимъ лежалъ его обыкновенный черновичокъ: отдѣльными словами, краткими фразами тамъ были намѣчены тѣ вопросы, которыхъ онъ собирался коснуться. Но вотъ въ концѣ своей рѣчи прокуроръ обратился къ судьямъ съ довольно банальнымъ призывомъ. Обвиняемымъ былъ богатый и вліятельный по мѣсту киргизъ, и прокуроръ кончилъ просьбой показать своимъ приговоромъ, что судъ не боится богатыхъ. Плевако немедленно отмѣтилъ эту фразу въ своемъ черновикѣ, и затѣмъ поставилъ около нея одно слово: фейерверкъ, дважды его подчеркнувши. И онъ скоро показалъ, что это значило. Дойдя до этого мѣста къ концу своей рѣчи и указавъ, что прокуроръ проситъ обвинительнаго приговора не потому, что передъ нимъ завѣдомо виноватый, а чтобы доказать силу суда, Плевако разразился такою тирадой, которую дѣйствительно нельзя лучше назвать, какъ «фейерверкъ». Тутъ были и цитаты изъ Евангелія, и ссылка на суд. уставы, и примѣры Запада, и воззваніе къ памятнику Александра II, стоявшаго передъ зданіемъ, и т. д. Я не дѣлаю попытки ни вспомнить, ни возстановить этотъ фейерверкъ мыслей и словъ, который захватилъ и залу и судей; я только указываю, какъ Плевако къ

нему подготовился. Вѣдь подобная вспышка среди рѣчи бываетъ у всякаго; иногда она заготовлена и обдумана заранѣе, какъ эффектное мѣсто, иногда создается сама собой подъ вліяніемъ захватившаго оратора воодушевленія. Для Плевако она не была неожиданностью; онъ заранѣе почуялъ ея необходимость, выбралъ для нея подходящее мѣсто и поводъ. Но сдѣлавъ это, онъ больше къ ней не готовился. Онъ зналъ, что фейерверкъ у него всегда готовъ, стóитъ только захотѣть; стóитъ открыть кранъ, и фонтанъ непремѣнно брызнетъ. Не трудно, конечно, рѣшить, что доводовъ прокурора безъ отвѣта оставить не слѣдуетъ; отвѣтъ слишкомъ легокъ и отмѣтить его въ конспектѣ не лишнее. Но Плевако хотѣлъ не только надлежащаго отвѣта, а «фейерверка», т.-е. чего-то исключительнаго по блеску, по красотѣ, по формѣ. И если и въ этомъ случаѣ онъ ничего не готовилъ заранѣе, предоставивъ все вдохновенію, увѣренный, что оно ему не измѣнитъ, то ясно, какъ мало могъ онъ нуждаться въ приготовленіи текста для спокойной, дѣловой части рѣчей. Ему не приходило въ голову, что «фейерверкъ» долженъ быть приготовленъ, что яркія, красивыя мѣста, увлекающія слушателей, могутъ не явиться сами собой, что осторожнѣе убѣдиться заранѣе, что и слова, и цитаты, и образы, и сравненія найдутся въ желанномъ количествѣ, что «фейерверкъ» не окажется тусклымъ повтореніемъ одного и того же. Въ этомъ онъ былъ такъ же твердо увѣренъ, какъ каждый, кто не заикается, увѣренъ въ томъ, что онъ легко скажетъ то слово, которое пожелаетъ.

Исключительная свобода плевакинской рѣчи сказывалась и въ той легкости, съ которой онъ одно и то же могъ говорить въ совсѣмъ другихъ выраженіяхъ; это показываетъ, что слова, которыя были имъ сказаны, онъ употреблялъ случайно, не потому, чтобы иначе онъ выразиться не сумѣлъ бы, чтобы онъ инстинктивно остановился на нихъ, какъ на единственной или даже просто лучшей изъ доступныхъ ему формъ выраженія мысли. Я помню, напримѣръ, какъ онъ вернулся съ Кавказа послѣ знаменитаго процесса объ убійствѣ адвоката Старосельскаго, гдѣ ему удалось оправдать Бакиханова. Онъ вернулся довольный и возбужденный, и по своей привычкѣ охотно всѣмъ и каждому раз-

сказывалъ всѣ перипетіи процесса. Вся его рѣчь тамъ, повидимому, свелась къ одному фейерверку. Онъ защищалъ не одинъ, а съ покойнымъ П. Г. Мироновымъ. Мироновъ говорилъ первый и произнесъ очень обстоятельную рѣчь, разобравъ всѣ улики. Плевако разсказывалъ, что разбирать улики онъ отказался; это значило, будто бы сказалъ онъ, дѣлать имъ слишкомъ много чести. Онъ не унизится до того, чтобы такія негодныя по происхожденію улики удостоивать критики. Но зато онъ коснулся нѣкоторыхъ общихъ вопросовъ процесса и кончилъ эффектнымъ обращеніемъ къ покойному Старосельскому. Мысль была та, что съ перваго взгляда можетъ удивить, что адвокатъ защищаетъ убійцу товарища по профессіи; но онъ защищаетъ невиннаго, т.-е. продолжаетъ то дѣло, которому служилъ и покойный, и если ему удастся сейчасъ спасти судъ отъ судебной ошибки, то это будетъ лучшій вѣнокъ, который онъ можетъ возложить на могилу убитаго. Эта несложная мысль была облечена въ такую красивую форму, съ прямымъ обращеніемъ къ Старосельскому: Товарищъ, спящій во гробѣ! — что потрясла слушателей. Въ залѣ послышались рыданія, заплакалъ одинъ изъ судей; о необычайномъ впечатлѣніи говорили газеты, о немъ передавалъ мнѣ и покойный Мироновъ. И вотъ по возвращеніи Плевако разсказывалъ объ этомъ и пересказывалъ свои слова, свой «фейерверкъ». Онъ разсказалъ его мнѣ, при мнѣ повторялъ вновь приходящимъ, одному за другимъ, наконецъ, я прочелъ его рѣчь и этотъ конецъ ея въ мѣстныхъ газетахъ. И любопытно, что хотя мысль, изложенная въ этомъ концѣ, какъ она ни красива, все же настолько проста, что, казалось, на ней лишнихъ узоровъ не вышьешь, хотя, передавая ее нѣсколько разъ, онъ долженъ былъ въ концѣ-концовъ ее выучить наизусть, я все же слышалъ отъ него, въ одинъ и тотъ же день и позже, все новые и новые варіанты и версіи. И не могу сказать, чтобы они выходили все лучше и лучше, чтобы шло инстинктивное ихъ усовершенствованіе. Напротивъ, часто я замѣчалъ, какъ какое-нибудь выраженіе, сочетаніе словъ, эпитетъ, который особенно мнѣ понравился, исчезалъ въ позднѣйшемъ пересказѣ, замѣняясь другимъ болѣе блѣднымъ; мнѣ случалось съ досадой останавливать

его, напоминать ему прежнюю редакцію. Онъ добродушно шутилъ, что я лучше его знаю, что онъ говорилъ, и потомъ передавалъ все еще иначе. Слова, очевидно, давались ему настолько безъ труда, что, несмотря на его богатую память, даже не запоминались по произнесеніи; среди массы словъ, послушно находившихся въ его распоряженіи, одинаково ему доступныхъ, его рѣчь даже инстинктивно не придерживалась испытанной знакомой дороги; такъ крѣпкій на ноги путникъ смѣло идетъ цѣликомъ, пренебрегая готовой тропинкой.

И этотъ завидный даръ импровизаціи шелъ дальше способности находить нужныя слова; также легко и свободно ему давался и планъ его рѣчи; и этотъ планъ былъ тоже не результатомъ обдумыванія, а порывомъ инстинкта, чутья. Однажды по моей просьбѣ Плевако написалъ за меня кассаціонную жалобу. Поводъ былъ несложный, нарушеніе пресловутой 572 ст. уст. угол. суд. Обвинялась дѣтоубійца, изъ Ясной Поляны, въ Крапивнѣ; предсказанія по составу присяжныхъ были самыя неутѣшительныя. Я имѣлъ осторожность запастись кассаціоннымъ поводомъ и просилъ отложить слушаніе дѣла за несоблюденіемъ ст. 572 [1]). Судъ, понимая въ чемъ дѣло, мнѣ отказалъ на томъ основаніи, что бумаги пріѣхали за 5 дней до разбора дѣла и что этого, по его мнѣнію, было достаточно. Приговоръ былъ обвинительный, и Плевако взялся за кассаціонную жалобу. Очевидно, надлежало только указать, что соображеніе суда о достаточности 5 дней для подготовки незаконно и неосновательно. Это было лѣтомъ. Плевако жилъ въ деревнѣ, и жалобу послали оттуда. Интересуясь дѣломъ, я просилъ его родныхъ выслать мнѣ или копію, или, по крайней мѣрѣ, черновикъ; въ отвѣтъ я получилъ цѣлую пачку бумагъ. Разобравшись въ нихъ, я увидѣлъ, что мнѣ прислали 5 или 6 экземпляровъ неоконченной жалобы; всѣ онѣ писаны на ремингтонѣ, прямо набѣло, но

---

[1]) Ст. 572 уст. уг. суд.: каждое дѣло, за н е д ѣ л ю до слушанія, должно быть доставлено туда, гдѣ предполагается открыть судебное засѣданіе.

Рѣшенія угол. кас. деп. сената за № 314, 72 г.: несвоевременное доставленіе дѣла на мѣсто не имѣетъ значенія, если объ этомъ не было сдѣлано заявленія до открытія судебнаго разбирательства и не было заявлено ходатайство объ отсрочкѣ по этой причинѣ судебнаго засѣданія.

ни одна не была окончена; оконченный экземпляръ былъ посланъ прямо въ сенатъ. Сравнивъ между собой эти 5 набросковъ, я убѣдился, что это одно и то же. Тѣ же самые мысли и доводы, которые изложены въ разныхъ выраженіяхъ и отчасти въ разномъ порядкѣ, но не доведены до конца. Меня удивило это обиліе черновиковъ, этотъ излишекъ труда, и я, встрѣтивъ Плевако, просилъ его объяснить, зачѣмъ онъ такъ много писалъ. Онъ небрежно отвѣтилъ на это, самъ не придавая значенія тому, что говорилъ: «да въ деревнѣ постоянно мѣшаютъ, начнешь писать, а кто-нибудь явится и оторветъ». Я спрашиваю, зачѣмъ же онъ потомъ писалъ сначала; а не продолжалъ съ того мѣста, гдѣ остановился. На это онъ такъ же небрежно отвѣтилъ: «ну ужъ я такъ не умѣю; какъ меня оторвутъ, изъ головы выскочитъ; мнѣ легче начать съ начала». Наблюдая Плевако потомъ, я могъ убѣдиться, что это совершенная правда, и прошу вникнуть, какъ она характерна. Кто изъ насъ предпочтетъ писать сначала, дѣлать вновь то же дѣло, сочинять новый текстъ, вмѣсто того, чтобы просто продолжать начатое? Кто изъ насъ настолько щедръ, чтобы выбросить безъ необходимости то, что было обдумано и написано, и безъ всякой надобности т о ж е сочинять второй разъ? Кто сознательно не облегчаетъ себѣ работы тѣмъ, что разбиваетъ ее на части и по частямъ исполняетъ? Но Плевако этого не умѣлъ. Вся его рѣчь, будь то произнесенная имъ или написанная, и слова, и самое расположеніе мыслей, выливалось изъ его головы какъ нѣчто цѣлое, законченное и недѣлимое; когда его прерывали, все пропадало, и ему было проще начинать съ начала, чѣмъ достраивать начатое. Какъ богатый человѣкъ не считаетъ денегъ, которыя онъ бросаетъ на вѣтеръ, онъ не жалѣлъ того, что было написано, что далось ему безъ труда, не дорожилъ удачной фразой, счастливымъ оборотомъ словъ и мыслей; онъ бросалъ все это, отдавался новому порыву, не заботясь о томъ, что онъ, можетъ быть, не будетъ такъ хорошъ и удаченъ.

Отсюда еще одна особенность плевакинскихъ черновиковъ, Плевако, какъ писателя. Въ нихъ не было слѣдовъ работы надъ текстомъ, исправленій, помарокъ и т. п. Они всегда имѣли видъ написанныхъ набѣло: Плевако могъ бро-

сить то, что ему не понравилось, и написать сызнова; но онъ никогда не исправлялъ. Онъ не имѣлъ понятія о той работѣ, которую наши лучшіе писатели, наши величайшіе стилисты производили надъ текстомъ своихъ сочиненій, о томъ трудѣ, которымъ они доводили этотъ текстъ до совершенства. Плевако былъ чуждъ этой заботы. Можно сказать больше. Онъ избѣгалъ ее сознательно и умышленно. Написанный текстъ для него являлся чѣмъ-то вродѣ произнесеннаго слова, которое взять назадъ невозможно. Мнѣ по этому поводу вспоминается одно его замѣчаніе, которое по какому-то капризу запало въ память. Еще въ студенческую пору я какъ-то былъ у Плевако продавать ему концертный билетъ. Я засталъ его въ кабинетѣ, пишущимъ на машинѣ. Въ это время машины были еще рѣдкостью, и Плевако былъ однимъ изъ первыхъ въ Москвѣ, который сталъ писать на нихъ; онъ писалъ очень хорошо и быстро, несмотря на то, что имѣлъ мало подвижную руку. Я спросилъ его, зачѣмъ онъ пишетъ на такой неудобной машинѣ. Съ той словоохотливостью, съ которой Плевако разговаривалъ со всякимъ, иногда посвящая перваго встрѣчнаго въ свои задушевныя тайны, Плевако сталъ объяснять мнѣ, студенту, почему онъ такъ дѣлаетъ; разсказалъ, что если много писать, то машина менѣе утомляетъ, и кромѣ того указалъ на одно ея свойство, которое запомнилось, вѣроятно, болѣе всего потому, что показалось тогда парадоксомъ. Онъ сказалъ, что машина удобнѣе потому, что не видишь написаннаго текста, что невольно его не перечитываешь, не сопоставляешь съ тѣмъ, что пишешь дальше; что такимъ способомъ писать правильнѣе, такъ какъ онъ ближе къ тому, какъ человѣку свойственно думать. И несомнѣнно, что эти слова вполнѣ отвѣчали манерѣ писать самого Плевако, который вовсе не находилъ полезнымъ и нужнымъ пользоваться преимуществами письменной формы для исправленія и отдѣлки написаннаго.

Всѣ эти мелкіе факты указываютъ, какъ это было сказано выше, на поразительную свободу и легкость плевакинской рѣчи, напоминающую такую же легкость Гамбетты; ему не было нужно заботиться о томъ, что является если не камнемъ преткновенія, то предметомъ упорнаго труда для другихъ,

надъ подготовкой къ произнесенію рѣчи. Черновики, которые онъ писалъ, имѣли другой характеръ и другую цѣль; они были не столько подготовкой будущей рѣчи, сколько способомъ убѣдиться, что для рѣчи у него достаточно матеріала, что въ ней не окажется пробѣловъ и пропусковъ, попыткой сведенія матеріаловъ въ систему. Если планъ его не удовлетворялъ и написанной рѣчью онъ былъ недоволенъ, хотя бы только концомъ ея, онъ немедленно писалъ ее сызнова; когда она казалась удачной, онъ на ней останавливался и на ней вышивалъ узоры импровизаціи. И если по какой-либо причинѣ въ серединѣ рѣчи мысль толкала его на новый путь, онъ бросалъ свой планъ безъ сожалѣнія и безъ страха, безъ боязни запутаться, не свести съ концами концовъ; онъ не былъ рабомъ того, что было имъ приготовлено, и въ тѣхъ случаяхъ, когда этому свойству онъ измѣнялъ, онъ только проигрывалъ. Рѣчь, которую онъ говорилъ по новому плану, подвернувшемуся въ процессѣ, плану, который далеко не всегда былъ лучше того, что было задумано, сохраняла зато прелесть непосредственности и естественности, хотя бы въ ущербъ цѣльности и полнотѣ.

Есть различныя системы подготовляться; одни, и далеко не худшіе, ораторы (напримѣръ, покойный Н. В. Муравьевъ) готовятъ весь текстъ, всю редакцію; другіе сосредоточиваютъ подготовку на скелетѣ рѣчи, на ея планѣ; ихъ рѣчи не написаны, но всегда строго обдуманы. Плевако не былъ ни тѣмъ, ни другимъ. Не только текстъ рѣчи, но въ значительной степени построеніе было дѣломъ минуты, капризомъ даннаго вдохновенія.

Конечно, это завидный даръ, облегчавшій его работу, сберегавшій его время отъ лишняго труда, для другого болѣе важнаго. Но онъ имѣлъ и тѣневую, обратную сторону. Я не хочу много останавливаться на неудобствахъ, проистекавшихъ отъ импровизаціи самого плана. Такой планъ по вдохновенію бывалъ иногда неудаченъ и навлекалъ на его рѣчь справедливый, хотя и преувеличенный упрекъ въ безсодержательности. Я называю его преувеличеннымъ, во-первыхъ, потому, что его слишкомъ поспѣшно обобщали. Вдохновеніе капризно всегда и плоды его, конечно, не одноцѣнны. Всякаго человѣка, всякаго мастера

надо судить по той высотѣ, на которую онъ способенъ подняться, а не по тѣмъ неудачамъ, которыя его могутъ постигнуть. На-ряду съ рѣчами, прелестная форма которыхъ не скрываетъ малой ихъ содержательности, мы имѣемъ другія, гдѣ разработка вопроса безукоризненна. Но онъ преувеличенъ даже поскольку имъ хотятъ указать на несистематичность плана, неравномѣрность частей. Это часто встрѣчается: не всѣ доводы развиты одинаково, не всѣ и затронуты. Но нельзя забывать, что часто это объяснялось не недостаточной обдуманностью рѣчи, а той своеобразной оцѣнкой доводовъ, которая коренилась въ существѣ плевакинскаго міровоззрѣнія, составляя оригинальность содержанія рѣчи. Но хотя эти упреки преувеличены, доля справедливаго въ нихъ все-таки есть, и вина за это лежитъ въ значительной мѣрѣ на той смѣлости, съ которой Плевако рѣшался импровизировать по сложнымъ вопросамъ, полагаясь на одно вдохновеніе. Но говоря о тѣневой сторонѣ его дарованія, я имѣлъ въ виду не дефекты плана, вызванные условіями импровизаціи; интереснѣе представляются тѣ послѣдствія, которыя непосредственно вытекали изъ этого дара Плевако, свободы и богатства его языка. Эта свобода сдѣлала то, во-первыхъ, что Плевако пренебрегъ этимъ даромъ, никогда не работалъ надъ нимъ. Какъ бы великъ онъ ни былъ, безъ работы онъ остался въ стадіи возможности, а не расцвѣта. Въ Плевако были задатки стать несравненнымъ стилистомъ, рѣчи котораго можно было бы запоминать наизусть, какъ, напр., рѣчи А. Ф. Кони. Но онъ остался къ этому вполнѣ равнодушенъ, никогда не исправлялъ ни рѣчей, ни статей съ тѣмъ, чтобы отдѣлать, очистить свой стиль; и если этотъ великій талантъ его не былъ зарытъ въ землю, онъ не былъ и пріумноженъ. Но исключительная свобода его рѣчи, во-вторыхъ, имѣла и худшую сторону; она невольно вела къ многословію, къ напыщенности, къ искусственности языка, къ своеобразному кокетству обиліемъ и разнообразіемъ словъ. Ему вѣчно грозила опасность инстинктивнаго злоупотребленія тѣмъ даромъ, которымъ его надѣлила природа; ему было слишкомъ легко говорить, чтобы говорить ровно столько, сколько было нужно по дѣлу. Въ изустной рѣчи отъ этой опасности его спасало

непосредственное вліяніе слушателей. Всякій ораторъ въ зависимости отъ большей или меньшей чуткости организаціи болѣе или менѣе ясно чуетъ ту грань, гдѣ ослабѣваетъ вниманіе слушателей. На рѣдкость здоровый и тѣломъ и нервами Плевако не былъ толстокожимъ, который не поддается вліянію создающейся вокругъ ней атмосферы. Произнесеніе рѣчи, несмотря на его громадный опытъ, всегда его волновало, приводило въ то напряженіе, въ которомъ человѣкъ такъ сливается съ окружающими, такъ чувствуетъ ихъ настроеніе. И это обостреніе нервной воспріимчивости спасало его отъ соблазновъ риторики и многословія. Чѣмъ болѣе онъ волновался, чѣмъ болѣе захватывало его настроеніе, тѣмъ рѣчь его была проще, короче, сильнѣй и красивѣй. Условія эти въ значительной степени исчезали, когда спокойно, у себя въ кабинетѣ, онъ писалъ на своемъ Ремингтонѣ, не контролируемый ощущаемой имъ нетерпѣливостью слушателя. Здѣсь часто поддавался онъ искушенію своего мастерства, и мысль его выливалась въ красивыхъ, но длинныхъ, напыщенныхъ, витіеватыхъ періодахъ. Они часто увлекательны и всегда такъ своеобразны, что мало-мальски привыкшій къ его языку ихъ узнаетъ повсюду; но эта красота лишена той силы, съ которой хватаютъ за сердце его простенькія, короткія фразы. И, можетъ быть, оттого между прочимъ, даже просто, какъ стилистъ, Плевако-писатель — слабѣе Плевако-оратора. Но это зло сказывалось не только въ немъ, какъ въ писателѣ; иногда, хотя рѣже, отъ него страдалъ и ораторъ. Какъ ни исключительно богато былъ одаренъ Плевако умѣніемъ говорить безъ подготовки, и у него, какъ у всякаго, бывали тѣ минуты пониженной дѣятельности, которымъ мы даемъ общее названіе: быть «не въ ударѣ»; оно могло проистекать не только изъ самыхъ разнобразныхъ, но и противоположныхъ причинъ: какъ ся предметомъ, такъ и оттого, наоборотъ, что былъ имъ ся предметомъ, такъ и оттого наоборотъ, что былъ имъ слишкомъ взволнованъ. Во всѣхъ такихъ случаяхъ онъ менѣе свободно отдавался вдохновенію и поневолѣ охотнѣе и ближе держался того, что было задумано и приготовлено. И это всегда было къ невыгодѣ впечатлѣнія. Я помню одинъ типичный образчикъ такой неудачи, въ знаменитомъ про-

цессѣ Стаховича и кн. Мещерскаго. Какъ ни расхвалили газеты его рѣчь по этому дѣлу, я смѣло причисляю ее къ неудачнымъ; это былъ succés d'estime, при которомъ отсутствіе восхищенія со стороны газетныхъ репортеровъ требовало извѣстнаго мужества. Что рѣчь была неудачна, я сужу не только по отзывамъ тѣхъ, кто хорошо зналъ Плевако и для сужденія объ этой рѣчи имѣлъ точки сравненія, но и по его личной оцѣнкѣ; долгое время онъ не любилъ о ней говорить и потомъ признавался, что остался собой недоволенъ. А между тѣмъ къ рѣдкой защитѣ онъ приготовлялся такъ тщательно; онъ много разъ писалъ и переписывалъ рѣчь, и послѣдній ея черновикъ былъ не рядомъ отдѣльныхъ словъ и намековъ, а совершенно законченнымъ текстомъ. Онъ и былъ напечатанъ въ газетахъ; кстати добавлю: всѣ тѣ рѣчи, которыя печатались отъ его имени и подлинность которыхъ можно узнать по его своеобразному языку, обыкновенно бывали имъ самимъ написаны; записать за нимъ, съ сохраненіемъ его слога, было выше силъ человѣческихъ. Обыкновенно послѣ процесса репортеры осаждали его просьбами дать ему рѣчь, и онъ, когда не лѣнился, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ писалъ ее на Ремингтонѣ; это бывала несомнѣнно его, плевакинская рѣчь, но излишне повторять, что она была только подобіемъ сказаннаго, однимъ изъ ея возможныхъ варіантовъ. Въ данномъ же процессѣ Стаховича Плевако при мнѣ отдалъ репортеру тотъ самый черновикъ, который имѣлъ, и онъ былъ полностью напечатанъ. Передъ процессомъ Плевако волновался такъ сильно, что, вопреки своей привычкѣ, наканунѣ суда просилъ меня со всѣми подробностями разсказать ему, что я буду говорить, и, что еще менѣе было на него похоже, просилъ выпустить или смягчить нѣкоторыя мѣста, чтобы съ нимъ не разойтись. Я думаю, что его волновала не столько сенсаціонность процесса, сколько совсѣмъ непривычный и даже непріятный ему ея политическій характеръ съ массой деликатныхъ моментовъ, требовавшихъ политическаго такта и дипломатической осторожности. И вотъ поздно вечеромъ передъ засѣданіемъ онъ пришелъ ко мнѣ въ номеръ и прочелъ напечатанную имъ на Ремингтонѣ рѣчь. Зная по опыту, какъ измѣняетъ онъ все то, что говоритъ, и интересуясь не формой, а

содержаніемъ, отдѣльными блестящими мыслями, я, прослушавъ его рѣчь, былъ увѣренъ, что она будетъ chef d'oeuvre'омъ, и предвкушалъ наслажденіе ее выслушать. Здѣсь меня и постигло разочарованіе. Плевако не справился съ волненіемъ; его замѣтили всѣ даже неопытные наблюдатели; онъ дошелъ до того, что нѣсколько разъ путалъ слова, говорилъ кн. Стаховичъ и г. Мещерскій. Усомнившись въ себѣ, онъ боялся оторваться отъ готоваго текста, и вмѣсто свободной импровизаціи я услышалъ близкій пересказъ того, что было написано. Спора нѣтъ, что и это было очень хорошо; это вовсе не было проваломъ и могло бы доставить заслуженные лавры другому. Но всѣ слабыя стороны плевакинской написанной рѣчи, ея длинноты, вычурность языка, выступили такъ рельефно, до того ослабили впечатлѣніе, что мнѣ вмѣсто радости рѣчь принесла одно страданіе, а слушателей далеко не захватила такъ, какъ онъ умѣлъ ихъ захватывать. Такое же отношеніе импровизаціи и рѣчи написанной или, по крайней мѣрѣ, заранѣе обдуманной можно иногда наблюдать и при другихъ обстоятельствахъ. Я не могу отдѣлаться отъ впечатлѣнія, напримѣръ, что характернымъ образчикомъ такого сопоставленія можетъ быть знаменитая защитительная рѣчь по дѣлу кн. Грузинскаго; оговариваюсь, что это только предположеніе, основанное на знакомствѣ съ текстомъ, и что съ самимъ Плевако я про это не говорилъ. Рѣчь въ защиту кн. Грузинскаго въ большей своей части является, несомнѣнно, импровизаціей; объ этомъ онъ самъ свидѣтельствовалъ вначалѣ, и это не фраза, не риторическій пріемъ простого бахвальства; кто изучилъ обстоятельства дѣла, тотъ согласится, что при самомъ причудливомъ воображеніи нельзя было предвидѣть той постановки обвиненія, которое было изобрѣтено прокуроромъ. Итакъ, Плевако начинаетъ импровизировать на тему, которая не была имъ обдумана; и дѣлаетъ это передъ труднымъ составомъ присяжныхъ, передъ сѣрымъ составомъ, какъ онъ это самъ говорилъ. И нельзя достаточно налюбоваться мастерствомъ этой работы, образнымъ, яркимъ, сильнымъ и доступнымъ языкомъ, который ничего не потерялъ ни въ своемъ благородствѣ, ни въ своей литературности, отъ приспосабливанія къ пониманію темныхъ

людей; нельзя не восхищаться той смѣлостью и прямотой, съ которыми онъ самъ задѣвалъ самыя опасныя стороны дѣла.

Не могу удержаться отъ удовольствія привести вамъ начало этой рѣчи: «Какъ это обыкновенно дѣлаютъ защитники, я по настоящему дѣлу прочиталъ бумаги, бесѣдовалъ съ подсудимымъ и вызвалъ его на искреннюю исповѣдь души, прислушался къ доказательствамъ и составилъ себѣ программу, замѣтки, о чемъ, какъ, что и зачѣмъ говорить предъ вами. Думалось и догадывалось, о чемъ будетъ говорить прокоръ, на что будетъ особенно ударять, гдѣ въ нашемъ дѣлѣ будетъ мѣсто горячему спору, — и свои мысли держалъ я про запасъ, чтобы на его слово былъ отвѣтъ, на его ударъ отраженье.

«Но вотъ теперь, когда г. прокуроръ свое дѣло сдѣлалъ, вижу я, что мнѣ мои замѣтки надо бросить, программу изорвать. Я такого содержанія рѣчи не ожидалъ.

«Много можно было прокурору спорить, что поступокъ князя не можетъ быть ему отпущенъ, что князь задумалъ, а не вдругъ рѣшился на дѣло, что никакого безпамятства не было, что думать о томъ, что Шмидтъ со своей стороны готовитъ кровавую встрѣчу и подъ этой думой стрѣлять въ Шмидта — князю не приходилось. Все это спорныя мѣста, сразу убѣдиться въ нихъ трудно, о нихъ можно потягаться.

«Но подымать вопросъ, что князь жены не любилъ, оскорбленія не чувствовалъ, говорить, что дѣти тутъ не при чемъ, что дѣло тутъ другое, воля ваша, — смѣло и врядъ ли основательно. И уже совсѣмъ не хорошо, совсѣмъ непонятно объяснять исторію со Шмидтомъ письмами къ Ѳенѣ, строгостью князя съ крестьянами и его презрѣніемъ къ меньшей братіи — къ крестьянамъ и людямъ, вродѣ нѣмца Шмидта, потому что онъ свѣтлѣйшій потомокъ царственнаго грузинскаго дома.

«Все это ново, неожиданно, и я, бросивъ задуманное слово, попытаюсь отвѣтить прокурору такъ, какъ меня наталкиваетъ сердце, возбужденное слышаннымъ и боязнью за будущее моего дѣтища-подсудимаго. Я очень радъ, что судьбу князя рѣшаете вы, по виду вашему — пахари и про-

мышленники, что судьбу человѣка изъ важнаго рода отдали въ руки ваши.

«Равенство всѣхъ передъ закономъ и вѣра въ правосудіе людей, не несущихъ съ собой въ судъ ничего, кромѣ простоты и чистоты сердца, — сегодня явны въ настоящемъ дѣлѣ. Сегодня, въ сторонѣ большого свѣта, въ уѣздномъ городкѣ, гдѣ нѣтъ крупныхъ интересовъ, гдѣ всѣ вы заняты своимъ дѣломъ, не мечтая о великихъ дѣлахъ и безсмертіи имени, на скамью обвиненіемъ посаженъ человѣкъ, котораго упрекаютъ въ презрѣніи къ вамъ, упрекаютъ въ томъ, что онъ изъ стародавней, нѣкогда властвовавшей надъ Грузіей фамиліи... И вамъ же предаютъ его на судъ!

«Но мы этого не боимся и, не краснѣя за свое происхожденіе, не страшась за вашу власть, лучшаго суда, чѣмъ вашъ, не желаемъ, вполнѣ надѣясь, что вы насъ разсудите въ правду и въ милость, разсудите по-человѣчески, себя на его мѣсто поставите, а не по фарисейской правдѣ, видящей у ближняго въ глазу спицу, у себя не видящей и бревна, на людей возлагающей бремя закона, а себѣ остающей легкія ноши».

Останавливаюсь здѣсь только потому, что когда-либо надо остановиться. Въ такомъ же стилѣ ведется она и дальше, и поистинѣ трудно отъ нея оторваться.

Но хотя, какъ говорилъ Плевако, онъ записку разорвалъ и бросилъ, однако записка у него была, и по какому-то капризу оратора, онъ нежданно къ ней возвращается; мы узнаемъ сейчасъ это не живое, не живущее мѣсто, отзывающееся хладнокровнымъ творчествомъ кабинета. Готовясь къ дѣлу, не зная присяжныхъ, еще не предчувствуя той атмосферы, которая создастся, растянуто и блѣдно, не согрѣтый пламенемъ конкретнаго случая, какъ бы только теоретически, абстрактно, Плевако готовился разъяснить присяжнымъ различную ступень и виды аффектовъ, ненаказуемость неполной вмѣняемости и т. д. Все это было обдумано и навѣрно написано. Я не берусь судить, дѣйствительно ли это сказалъ Плевако въ своей рѣчи, или это потомъ по его запискѣ вставилъ репортеръ, я увѣренъ только, что эта часть написанной рѣчи — плодъ не нервнаго слова, а кабинетная выдумка, и что она лежитъ блѣдной заплатой

на яркомъ фонѣ импровизаціи. Вотъ для иллюстраціи нѣсколько фразъ этой вставки:

«Часто извиняютъ преступленія страсти, разсуждая, что душа, ею одержимая, не властна въ себѣ.

«Но если проступокъ былъ необходимъ, то самая страсть, когда она зарождалась въ душѣ, вызывала осужденія нравственнаго чувства. Павшій могъ бы избѣжать зла, если бы своевременно обуздывалъ страсть. Отсюда — преступленіе страсти все-таки грѣхъ, все-таки нѣчто, обусловленное уступкой злу, пороку, слабости. Такъ, грѣхъ Каина — результатъ овладѣвшей имъ страсти — зависти. Онъ не повиненъ, ибо совѣсть укоряла его, когда страсть, еще не рѣшившаяся на братоубійство, изгоняла изъ души его любовь къ брату.

«Но есть иное состояніе вещей: есть моменты, когда душа возмущается неправдой, чужими грѣхами, возмущается законно, возмущается во имя нравственныхъ правилъ, въ которыя вѣруетъ, которыми живетъ, и, возмущенная, поражаетъ того, кѣмъ возмущена...

«Такъ Петръ поражаетъ раба, оскорбляющаго его Учителя. Тутъ все-таки есть вина, — несдержанность, недостатокъ любви къ падшему, но вина извинительнѣе первой, ибо поступокъ обусловленъ не слабостью, не самолюбіемъ, а ревнивой любовью къ правдѣ и справедливости».

Я не хочу слишкомъ долго останавливаться на примѣрахъ, но, проглядывая то, что напечатано изъ его рѣчей, мнѣ кажется, я отчетливо вижу двухъ различныхъ Плевако: Плевако — говорящаго, будь то въ непринужденной бесѣдѣ и разговорѣ, или въ нервномъ напряженіи защитника, не тратящаго лишнихъ словъ, не дающаго ослабѣть вниманію и впечатлѣнію, и Плевако—спокойно и неторопливо стучащаго на своемъ Ремингтонѣ и перваго подпадающаго подъ власть своего опаснаго дарованія. И я увѣренъ дальше, — и тамъ, гдѣ я могъ, я это провѣрилъ, — что тѣ рѣчи, которыя изданы, какъ рѣчи Плевако, и были имъ исправлены или, вѣрнѣе, написаны, такъ какъ я не могу представить себѣ Плевако исправляющимъ что-либо, что эти рѣчи все же даютъ о немъ, какъ объ ораторѣ, невѣрное или, по крайней мѣрѣ, неполное представленіе; — въ большинствѣ случаевъ онѣ писались ре-

мингтонным стилем, кормѣ тѣх, которыя были записаны стенографически или, когда Плевако, переписывая их, находился еще самъ подъ властью настроенія, которое ихъ диктовало. Поэтому-то эти рѣчи, этотъ сборникъ, давая возможность судить о Плевако, какъ объ ораторѣ, по содержанію часто можетъ ввести въ заблужденіе, если говорить о немъ, какъ о стилистѣ.

Но я не хотѣлъ бы всѣмъ раньше сказаннымъ дать поводъ предположить, будто я считаю слогъ Плевако въ общемъ блѣднымъ и многословнымъ. Этого я не хотѣлъ говорить. Я отмѣчаю только, что изумительная свобода его рѣчи, позволивъ и даже внушивъ ему дурную привычку никогда не исправлять того, что написано, сослужила плохую службу ему какъ стилисту, въ рѣдкомъ случаѣ въ качествѣ оратора, чаще — писателя. Конечно, это нисколько не отражается на общей оцѣнкѣ его, ибо сила Плевако не въ стилѣ. Только съ точки зрѣнія чисто литературной, любителей россійской словесности, можно пожалѣть, что судьба допустила остаться безъ развитія и обработки эту часть его громаднаго дарованія. Но и здѣсь можно жалѣть только о томъ, что Плевако не далъ всего, что дать могъ. Здѣсь жалѣешь о погибшей возможности, ибо и въ этомъ отношеніи Плевако былъ одаренъ феноменально; свобода рѣчи была только однимъ изъ его свойствъ, другимъ была рѣдкая колоритность, яркость, выразительность его языка. Все это прорывалось въ его рѣчи, и болѣе всего тогда, когда онъ объ этомъ менѣе всего помышлялъ; стилистическими красотами, которымъ мѣсто въ христоматіяхъ, были полны его разсказы и споры въ повседневной бесѣдѣ, за чайнымъ столомъ; вы ихъ найдете на любой страницѣ сборника его произведеній; онѣ такъ и блещутъ въ тѣхъ счастливыхъ мѣстахъ, гдѣ чувствуется подъемъ охватившаго его настроенія, гдѣ о стилѣ онъ совсѣмъ забывалъ, весь устремляясь къ дѣлу, живя съ слушателями однимъ напряженіемъ. Перечтите такіе перлы его краснорѣчія, какъ знаменитое дѣло люторичскихъ крестьянъ, забудьте о содержаніи, объ оригинальномъ юридическомъ построеніи, оцѣните одинъ только стиль, одну литературную внѣшность!

Я не хотѣлъ бы въ этомъ направленіи итти слишкомъ

далеко; я невольно вспоминаю то отвращеніе, которое моїй гимназическій учитель сумѣлъ внушить намъ къ Горацію только тѣмъ, что подвергалъ тончайшему анализу его стиль, отыскивая и классифицируя его красоты. Но чтобы оцѣнить прелесть плевакинскаго языка, прослѣдите его мастерство въ пользованіи двумя, тремя пріемами литературнаго изложенія. Возьмите, напримѣръ, мѣткость и силу эпитета. Въ рѣчи о люторичскихъ крестьянахъ, описывая крестьянскій надѣлъ, Плевако говоритъ: «особенность этого имѣнія, это — ничтожный надѣлъ, даровой, какъ его именуетъ законъ, нищенскій, какъ его обзываютъ въ литературѣ, кошачій по мѣткому выраженію русскаго **голодающаго остроумія**». Какъ много сказано сочетаніемъ этихъ словъ — голодающее остроуміе!

Я невольно припоминаю другого стилиста и мастера эпитетовъ, нашего москвича Ключевскаго; и у него тотъ же яркій, образный стиль, который ни на кого не похожъ, котораго послѣ нѣсколькихъ строчекъ повсюду узнаешь безъ подписи. Мѣстами Плевако напоминаетъ его, но Ключевскій при всемъ своемъ талантѣ былъ человѣкомъ упорной, медленной работы; его статьи и лекціи строго обдуманы; въ нихъ импровизаціи нѣтъ. Плевако же кидалъ свои эпитеты **походя**, въ простомъ разговорѣ, забывая про нихъ; онъ могъ ихъ сказать въ своей рѣчи и, воспроизводя ее потомъ на Ремингтонѣ, опустить ихъ, такъ какъ это былъ мимолетный капризъ дивнаго языка, а не плодъ внимательной мысли. Потому, въ отличіе отъ Ключевскаго, въ языкѣ котораго по банальному, но вѣрному выраженію ни одного слова нельзя ни прибавить ни выкинуть, стиль Плевако невыдержанъ и неровенъ, покрытъ какъ бы блестками, ярко свидѣтельствующими о могучемъ талантѣ, но вызывающими нерѣдко самонадѣянное желаніе заняться его корректурой.

Посмотрите еще на одинъ изъ труднѣйшихъ литературныхъ пріемовъ — опредѣленія.

«Деревенская община, — говорилъ Плевако въ той же рѣчи о люторичскихъ крестьянахъ, — юридическое лицо. Она думаетъ на сходкѣ и, по условіямъ юридическаго лица, она иначе не можетъ думать, какъ вслухъ и рѣчами. Сильные

голоса того и другого на сходкѣ, это — рельефныя мысли думающей юридической личности. Если среди шумящаго люда и раздавались бранныя слова, — говорилъ онъ дальше, — то не судите за это строго: бранное слово — это междометіе народнаго языка».

Однимъ изъ любимыхъ пріемовъ Плевако, къ которымъ онъ прибѣгалъ очень часто, и всегда очень удачно, было сравненіе: ими кишитъ его рѣчь, часто оно замѣняетъ цѣлый доводъ, является единственнымъ аргументомъ. Въ нихъ онъ всегда великолѣпенъ. Я помню, что когда бывало — будь то въ рѣчи или разговорѣ — Плевако вдругъ возьмется за сравненіе, то раньше, чѣмъ онъ его сыщетъ, уже радостно предвкушаешь что-то блестящее и неожиданное. И онъ сыпалъ ими такъ же небрежно, щедро, какъ другими перлами своего несравненнаго языка. Ихъ много и въ тѣхъ рѣчахъ, которыя напечатаны. Возьмемъ то же дѣло люторичскихъ крестьянъ. Плевако цитируетъ статистику дѣлъ, возбужденныхъ экономіей гр. Бобринскаго противъ крестьянъ. «Въ 1866 году г. Фишеръ предъявляетъ всего два дѣла — на 150 р.; на слѣдующій годъ уже 7 дѣлъ, и взыскано долгу и неустойки 1,542 р.; въ 1869 г. 5 дѣлъ и 103 р.; въ 1870 г. разыгрывается аппетитъ г. Фишера, и онъ вчиняетъ 51 дѣло и получаетъ 9,937 руб.; въ 1871 г. — 54 дѣла и 13,032 р.; въ 1872 г. — 28 дѣлъ и 7,858 р. взысканія. Въ 1873 г. настало затишье — рука бьющаго устала и вчинила только 5 дѣлъ и только 1,309 р. взыскано. Но миръ былъ недологъ. Съ слѣдующимъ годомъ вспыхнуло новое гоненіе: 20 дѣлъ и 6,588 р. въ 1874 г.».

Какая мѣткость и неожиданность сравненія: «рука бьющаго устала»! Ясно, что оно ничего не объяснило, не затѣмъ оно было и сказано. Но паденіе цифры дѣлъ въ 1873 г. пройти молчаніемъ было нельзя; Плевако прибѣгъ къ сравненію и однимъ словомъ нарисовалъ картину, въ которой это случайное уменьшеніе дѣлъ только усилило общее впечатлѣніе. Въ той же рѣчи онъ возражаетъ противъ обвиненія въ подстрекательствѣ; его усматривали въ одновременности сопротивленія со стороны всѣхъ крестьянъ. «Войдите въ звѣринецъ, когда настанетъ часъ бросать пищу оголодавшимъ звѣрямъ; войдите въ дѣтскую,

гдѣ проснувшіяся дѣти не видятъ няни. Тамъ одновременное рычаніе, здѣсь — одновременный плачъ. Поищите между ними подстрекателя... И онъ найдется не въ отдѣльномъ звѣрѣ, не въ старшемъ или младшемъ ребенкѣ, а найдете его въ голодѣ или страхѣ, охватившемъ всѣхъ одновременно»...

Возьмемъ другую, превосходную рѣчь въ защиту А. Е. Максименко, любопытную съ самыхъ различныхъ сторонъ. Обвинитель рисовалъ прошлое подсудимой черными красками; другой защитникъ протестовалъ противъ этого пріема, находилъ его неправильнымъ и незаконнымъ и просилъ присяжныхъ забыть то, что было имъ сказано. Но Плевако этимъ не довольствуется: «Одной просьбой о забвеніи этой страницы дѣла ничего не сдѣлаешь: она уже прошла передъ глазами присяжныхъ. Просьбы о забвеніи остались бы неисполненными и даже возбуждали бы особое вниманіе къ исключаемымъ фактамъ.

«Такъ безплодна просьба матери, которая, давая дочери своей какой-либо модный романъ, предлагаетъ ей не читать нѣкоторыхъ отмѣченныхъ краснымъ карандашомъ страницъ: онѣ будутъ прочитаны, прочитаны ранѣе другихъ, и только сильнѣе запечатлѣются въ молодомъ мозгу.

«Нѣтъ, я мирюсь съ пріемомъ прокурора и, выслушавъ его обличительную рѣчь о далекомъ прошломъ подсудимой, принимаю вызовъ».

И въ слѣдующемъ за тѣмъ образцовомъ по силѣ и яркости описанія прошлаго подсудимой находится рядъ красивыхъ сравненій. Подсудимую обвиняютъ въ легкомысліи, распущенности. Указываютъ на увлеченія до брака. «Кто изъ насъ, имѣя въ семьѣ молодыхъ дѣвушекъ, сестеръ или дочерей, не знаетъ, что серьезному чувству, которое ведетъ ихъ къ алтарю, предшествуютъ, какъ эскизы предшествуютъ картинѣ, мимолетныя вспышки нѣжности, скоро проходящія печали молодого сердца»?..

А вотъ еще сравненіе, которое пришлось слышать мнѣ самому, въ одной изъ послѣднихъ рѣчей Плевако о безпорядкахъ на фабрикѣ Коншина. Рѣчь идетъ о характерѣ массовыхъ преступленій.

«Толпа — зданіе, лица — кирпичи. Изъ однихъ и тѣхъ же кирпичей созидается и храмъ Богу, и тюрьма — жилище от-

верженныхъ. Передъ первымъ вы склоняете колѣни, отъ второй бѣжите съ ужасомъ.

«Но разрушьте тюрьму, и изъ кирпичей, оставшихся цѣлыми отъ разрушенія, вы снова построите храмъ».

Такъ въ простомъ образѣ Плевако резюмируетъ цѣлое ученіе о толпѣ, о ея вліяніи на человѣка, объ его уменьшенной вмѣняемости, о несправедливости по одиночкѣ карать тѣхъ, кто былъ преступенъ только съ толпой.

Укажу еще на одну сильную сторону таланта, на картинность его описаній.

Нарисовавъ краснорѣчиваго Рудина, Тургеневъ прибавляетъ, что онъ не умѣлъ описывать, что для этого у него нехватало красокъ. Этого нельзя было сказать о Плевако. Описанія удавались ему превосходно въ самыхъ яркихъ и жизненныхъ тонахъ. Приводить примѣры этого въ видѣ цитатъ было бы невозможно, это заняло бы слишкомъ много мѣста и времени; я сошлюсь только на рѣчи, гдѣ можно видѣть такія описанія: это — то же дѣло люторичскихъ крестьянъ, гдѣ описанъ ходъ безпорядковъ, дѣло Максименко, гдѣ описано прошлое дѣвушки, дѣло Ильяшевича, Висновской и много другихъ. По самому свойству дѣла описанію всегда отводится въ судебныхъ рѣчахъ меньше мѣста, чѣмъ разсужденію. Но кто зналъ лично Плевако, знаетъ, какой мастеръ былъ онъ разсказывать и описывать. Послѣ него осталось начало его автобіографіи; когда она будетъ напечатана, вы увидите, что въ Плевако скрывался и погибъ помимо всего прочаго и несравненный художникъ.

Добавлю еще, что онъ былъ неистощимъ въ остротахъ, каламбурахъ, превосходно владѣлъ стихомъ и риѳмой, могъ импровизировать стихами, могъ пародировать любого писателя; такъ при своемъ глубокомъ знаніи писанія и богослуженія, онъ въ минуты добродушнаго дурачества пародировалъ эктеньи, проповѣди, самую Библію; короче, что онъ былъ тѣмъ хозяиномъ слова, для котораго въ этой области нѣтъ ничего недоступнаго, который владѣетъ имъ такъ, какъ другой владѣетъ мыслью. И если бы Плевако этимъ дорожилъ, надъ этимъ работалъ, то онъ оставилъ бы намъ классическіе, недосягаемые образцы силы и прелести рус-

скаго языка. Но онъ объ этомъ не думалъ. Все это было для него только орудіемъ, а не цѣлью; онъ довольствовался тѣмъ, что ему было дано, не заботясь отточить, украсить это орудіе. И если отъ этого потеряла русская литература и при чтеніи его рѣчей не такъ легко бросается въ глаза обаяніе слога, то Плевако, какъ ораторъ, отъ этого выигралъ. Онъ не принужденъ былъ разбрасывать силы, тратить время и вниманіе на заботы о внѣшности; ему не грозила опасность стать слугой и даже рабомъ собственнаго своего краснорѣчія. Плевако начиналъ тамъ, гдѣ другіе кончаютъ; въ то время, какъ другіе уже считаютъ себя ораторами только потому, что добились умѣнья говорить не только гладко и правильно, но и красивыми фразами по всѣмъ рецептамъ риторики, Плевако имѣлъ это отъ Бога и притомъ въ такомъ изобиліи, что не могъ понять, какъ объ этомъ можно заботиться и почему это можно цѣнить.

Работа его ушла на другое, и, конечно, нельзя сомнѣваться, что ушла на болѣе важное.

И интересенъ вопросъ: на что она ушла, въ чемъ была его подготовка, что дало ему его воспитаніе?

Ходячій упрекъ, который обыкновенно дѣлаютъ Плевако, заключается въ томъ, что онъ мало работалъ, не зналъ дѣлъ, спасался только талантомъ. Въ этомъ упрекѣ есть доля правды, хотя ее слѣдуетъ заключить въ надлежащія рамки. Во-первыхъ, не надо преувеличивать; если Плевако меньше, чѣмъ другіе, тратилъ времени на изученіе дѣлъ, то не надо упускать изъ виду, что онъ обладалъ удивительной памятью и рѣдкимъ умѣніемъ сразу схватить суть всякаго казуса. Кромѣ того, въ дѣлѣ, особенно уголовномъ, онъ рѣдко пользовался всѣмъ матеріаломъ; онъ отбиралъ нѣсколько основныхъ положеній, главныхъ мотивовъ, и мало интересовался тѣмъ, что не имѣло къ нимъ отношенія. Но какъ бы то ни было, къ дѣламъ онъ дѣйствительно часто готовился недостаточно; узналъ ихъ наскоро и, что еще хуже, по пересказу помощниковъ. Но не чтеніемъ «дѣлъ» ограничивается подготовка оратора, и было бы грустно, если бы время такого ума, главнымъ образомъ, уходило на это. Интереснѣй вопросъ, вообще умѣлъ ли р а б о т а т ь Плевако, или онъ былъ «праздный гуляка», котораго въ нуж-

ныя минуты осѣняло вдохновеніе свыше? Конечно, Плевако не могъ служить образцомъ трудолюбія; онъ былъ слишкомъ мало европейцемъ, чтобы умѣть устроить регулярную жизнь, умѣть работать систематично; по общительности его характера масса времени у него уходила на разговоры, на гостей, на балагурство, на всѣ эти язвы русскаго общежитія. Онъ работалъ по-русски, порывами: то, наглухо отъ всѣхъ запершись, просиживая надъ бумагами ночи, то заставляя дѣла и кліентовъ ждать терпѣливо, пока онъ тратитъ нужное время въ гостиной, за картами, за чайнымъ столомъ. Все это естественно порождало толки о его лѣни, безпечности и легкомысліи. Впрочемъ, и здѣсь надо опасаться преувеличенія. На склонѣ лѣтъ всѣ живутъ болѣе запасами прошлаго, съ годами растутъ не знанія, только опытъ, и всѣ болѣе или менѣе отстаютъ и опускаются. Общей участи не избѣгъ и Плевако. Чтобы судить о томъ, какъ и надъ чѣмъ онъ работалъ, справедливѣе взять его въ молодости. И мы имѣемъ достаточно данныхъ, чтобы утверждать, что Плевако былъ совсѣмъ не лѣнивъ, что онъ много работалъ, что репутація «безумца, гуляки празднаго» была имъ совсѣмъ не заслужена, и не одинъ Божій даръ сдѣлалъ его тѣмъ, чѣмъ онъ былъ.

Однимъ изъ наиболѣе наглядныхъ, «вещественныхъ» доказательствъ работы Плевако была его библіотека. Она не была собраніемъ книгъ, которыя покупаютъ сразу, по случаю, украшая ими кабинетныя полки. Въ громадной части она пріобрѣталась постепенно самимъ Плевако, въ то время, когда онъ не былъ настолько богатъ, чтобы тратить деньги на ненужную книгу. И Плевако не принадлежалъ къ числу тѣхъ, кто довольствуется пріобрѣтеніемъ книги и, ставя ее на полку, этимъ ограничиваетъ свое отношеніе къ ней. Его книги носили ясный слѣдъ изученія; масса подчеркиваній, значковъ, иногда всѣ поля кругомъ исписаны. И, что еще интереснѣе, связь Плевако и книги не прекращалась и послѣ прочтенія. Въ общемъ онъ былъ человѣкъ разсѣянный и безпорядочный, который все терялъ и забывалъ. Но стоило у него попросить какую-нибудь книгу, и онъ всегда безъ ошибки указывалъ, гдѣ ее найти. А это было совсѣмъ не такъ просто. У Плевако была одна удивительная страсть, кото-

рой судьба не давала ходу: переѣзжать съ квартиры на квартиру. Такъ какъ онъ жилъ въ своемъ домѣ, то это для него было ненужно; онъ мѣнялъ тогда квартиру въ предѣлахъ того же самаго дома; на моей памяти онъ перемѣнилъ 4 квартиры въ домѣ на Новинскомъ бульварѣ. Но и этого ему было мало; тогда онъ измѣнялъ расположеніе комнатъ, переѣзжалъ въ другой кабинетъ. За невозможностью дѣлать и это, онъ переставлялъ мебель, и особенно часто переставлялъ книги на полкахъ, располагая ихъ по новому плану.

Я часто видалъ его за этимъ занятіемъ; для него онъ забывалъ все остальное, кліентовъ, дѣла, сроки и обѣщанія. Его можно было видѣть на лѣстницѣ съ книгой въ рукахъ, бѣгло ее перелистывающаго; стоило войти въ это время, и онъ тотчасъ начиналъ говорить о книгѣ, разсказывать анекдоты о томъ, какъ, почему и зачѣмъ онъ ее пріобрѣлъ, что его въ ней поразило и т. д. Если при переборкѣ книгъ оказывалось, что какая-нибудь изъ нихъ не на мѣстѣ, онъ всегда это замѣчалъ, волновался, начиналъ подозрѣвать своихъ завсегдатаевъ, посылалъ къ нимъ за справками, и обыкновенно ее находилъ. Словомъ, его библіотека было нѣчто съ нимъ крѣпко сроднившееся, глубоко имъ пережитое, стала частью его личности или, по крайней мѣрѣ, его біографіи.

Это дѣлаетъ очевиднымъ, что въ свое время Плевако много работалъ, и, какъ ни условны всѣ выводы, которые можно дѣлать о человѣкѣ по составу его библіотеки, она все-таки открываетъ кое-что характерное.

Она прежде всего была довольно случайной, несистематичной; въ этомъ отразилась несистематичность его образованія; онъ не проходилъ правильной школы подъ чьимъ-либо руководствомъ: если онъ былъ самородкомъ по дарованію, то остался самоучкой по воспитанію; на немъ не замѣчалось слѣдовъ учителя, вліянія извѣстнаго направленія. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ слова эклектикомъ; читалъ все, что понравилось или что было почему-либо нужно въ данный моментъ. Онъ запасался самыми разнообразными точками зрѣнія, самыми противоположными доводами и аргументами; всѣ ихъ усваивалъ, запоминалъ, но именно отсутствіе школы, руководителя позволило ему сохранить всю

свою индивидуальность, не поработить ея въ угоду учителю. Отсюда вышла та изумительная находчивость, изобрѣтательность, творчество, которыя въ обыкновенныхъ умахъ развиваются всегда въ ущербъ знаніямъ, памяти: память и творчество — основныя свойства ума человѣка, но они только у избранныхъ натуръ идутъ рядомъ; обыкновенно человѣкъ творитъ, покуда не знаетъ, пока запасъ свѣдѣній не сковываетъ его вдохновенія; по мѣрѣ того, какъ онъ усваиваетъ «умъ чужой», онъ теряетъ способность творить и идетъ послушно за нимъ. Плевако избѣгъ этой опасности: онъ ни мало не подчинилъ себя чужому уму; онъ бралъ у другихъ образчики мыслей, разсужденій, ошибокъ; учился тому, какъ можно думать, какъ можно разсуждать. Онъ познавалъ воочію всю относительность истины, всю условность авторитетовъ; отношеніе къ наукѣ было у него диллетантскимъ: онъ ею любовался, какъ высшимъ мастерствомъ ума человѣческаго. Но, изощривъ его умъ, отточивъ его, какъ орудіе, наука не дала и не могла дать ему тѣхъ незыблемыхъ положеній, которыя бы сковали его мысль, наложили ярмо опредѣленной доктрины. Онъ остался свободнымъ.

Составъ его библіотеки былъ любопытенъ еще и съ другой стороны: она не носила профессіональнаго отпечатка. Если исключить тѣ настольныя руководства, которыя всюду выдаютъ практика-юриста, сборники законовъ и кассаціонныхъ рѣшеній, едва ли кто, ознакомившись съ его библіотекой, могъ хотя приблизительно догадаться, чѣмъ занимается ея собственникъ. Конечно, у него было много книгъ по юриспруденціи; онѣ какъ будто обнаруживаютъ юриста; однако, еще болѣе книгъ было у него по богословію, по религіозной исторіи. И этотъ отдѣлъ былъ не только систематичнѣе, онъ былъ болѣе въ употребленіи; книги этого рода не сходили у него со стола; многія изъ нихъ переплетались вперемежку съ бѣлыми страницами, которыя онъ покрывалъ комментаріями. Но юриспруденція адвоката не обличала. Возьмемъ, напр., область гражданскаго права; многими повторялось, что Плевако былъ плохимъ цивилистомъ. И если посмотрѣть, что онъ читалъ по гражданскому праву, то съ перваго взгляда можно подумать, что у него къ нему дѣйствительно нѣтъ интереса: обычныя руководства къ Х

тому стояли почти неразрѣшимыми; но работа его въ этой области неожиданно раскрывалась съ другой стороны. Оказывалось, что онъ много занимался тѣмъ, чѣмъ юристы-практики обыкновенно не интересуются, — изученіемъ римскаго права. Въ молодости онъ перевелъ Пухту съ нѣмецкаго, и это не было простымъ средствомъ заработка. Интересъ къ римскому праву онъ сохранилъ и позднѣе и перенесъ впослѣдствіи на аналогичный ему памятникъ современнаго права на Code civil: въ его библіотекѣ были многотомные комментаріи Лорана и Демоломба; оба принадлежали къ тѣмъ сочиненіямъ, которыя онъ читалъ постоянно; рѣдкая страница не была вся кругомъ исписана и перечеркнута. Болѣе того. Мнѣ какъ-то случилось сказать ему, что вышелъ трудъ новѣйшаго комментатора, 4-томный комментарій Baudry-Lacontinière'a: онъ немедленно его пріобрѣлъ, и я засталъ его за его изученіемъ. Итакъ, не интересуясь тѣми настольными книгами, которыя такъ облегчали трудъ для практика, которыя разжевывали и клали въ ротъ все, что адвокату нужно знать по гражданскому праву, Плевако занимался тѣмъ, что имѣло къ всему этому только очень отдаленное отношеніе, изученіемъ научныхъ основъ римскаго и гражданскаго права, то-есть шелъ тѣмъ путемъ, какимъ обыкновенно не идутъ люди, стремящіеся скорѣе стать мастерами какого бы то ни было ремесла.

Это и наложило отпечатокъ на него, какъ на адвоката; онъ мало зналъ и дѣйствующіе законы и еще меньше кассаціонную практику. Въ умѣніи аргументировать нумерами рѣшеній онъ пасовалъ передъ многими... Но если онъ не былъ законникомъ, то зато былъ превосходнымъ юристомъ, глубоко чувствующимъ и понимающимъ, чего требуетъ здоровое право. Быть можетъ, потому онъ и склоненъ былъ легко относиться къ закону, что слишкомъ живо ощущалъ велѣніе права.

Никто поэтому лучше его не умѣлъ ни разрѣшить вопроса, въ законѣ не предусмотрѣннаго, ни найти опоры своему взгляду въ велѣніи разума, а не банальномъ примѣрѣ существующей практики. Глубоко имъ усвоенное ощущеніе права, духа законовъ иногда замѣняло ему самое знаніе ихъ. Онъ самъ разсказывалъ, какъ иногда, не зная зако-

на, инстинктомъ угадывалъ, какой при данныхъ условіяхъ законъ можетъ быть и гдѣ его должно найти. У меня не сохранилось въ памяти всѣхъ подробностей одного подобнаго случая, о которомъ онъ мнѣ говорилъ. Случилось, что по дѣлу о разводѣ какой-то военный не послушался требованія консисторіи; Побѣдоносцевъ изъ доклада консисторіи усмотрѣлъ въ этомъ неуваженіе къ Церкви, поднялъ скандалъ и добился грознаго Высочайшаго запроса, почему консисторіи не послушались. Полковникъ, чуя бѣду, прибѣжалъ къ Плевако за помощью: что отвѣчать. И вотъ, говорилъ онъ, когда онъ узналъ дѣло, ему показалось, что требованіе консисторіи противорѣчитъ духу военныхъ законовъ (сколько помню, рѣчь шла о допросѣ офицеровъ, какъ свидѣтелей по бракоразводному дѣлу), что въ военныхъ постановленіяхъ должны быть гдѣ-нибудь правила, которыя указываютъ для консисторскихъ требованій особый порядокъ, который не былъ ею соблюденъ. Стали искать, рыться въ постановленіяхъ, и такой законъ, хотя и не примѣняемый, дѣйствительно оказался. Полковникъ на него сослался, и выговоръ вмѣсто него получила консисторія.

Вотъ примѣръ того, какъ юридически образованный умъ своимъ чутьемъ оказался сильнѣе спеціальныхъ законниковъ; и это чутье, находчивость хорошаго юриста, проникнутаго ощущеніемъ права, воспитавшагося на его идейныхъ началахъ, на сознаніи его внутреней логической стройности, а не на злободневныхъ перемѣнчивыхъ требованіяхъ текущаго законодательства, это чутье въ юриспруденціи было главной силой Плевако.

Нѣкоторая доля пренебреженія къ положительному законодательству и существующей практикѣ, конечно, проходила не безнаказанно. Ему случалось дѣлать грубые промахи, ошибки, видные даже помощнику. И товарищи его по профессіи охотно любили о нихъ всюду разсказывать. Но зато эта же свобода творчества и ума подсказывала ему тѣ оригинальныя построенія, которыми ему удавалось спасать самое безнадежное дѣло. Онъ не воспиталъ въ себѣ человѣка ремесла; остался въ юриспруденціи тѣмъ поэтомъ-художникомъ, которымъ поневолѣ любуются, но котораго,

какъ въ старину Фидія, сапожникъ могъ удачно поймать на неправильномъ изображеніи обуви.

Но библіотека Плевако интересна еще съ другой стороны, съ точки зрѣнія того, чего въ ней не было; и самымъ любопытнымъ пробѣломъ ея была современная беллетристика. Беллетристика вообще, даже классическая, не была любимымъ чтеніемъ Плевако. Онъ ее зналъ, многое любилъ, но у него не было потребности и привычки ее перечитывать. Я имѣлъ въ этомъ отношеніи любопытное наблюденіе. Мнѣ случалось съ нимъ путешествовать. Обыкновенно на это время мы беремъ особаго рода литературу, беллетристику, легкое чтеніе. Плевако бралъ съ собой Куно-Фишера, Канта, Менгера, Еллинека. Сначала я думалъ, что это случайность, предлагалъ ему что-либо изъ того, что было со мною. Онъ бралъ, развертывалъ, но потомъ опять принимался за Канта; и на мой вопросъ о странномъ выборѣ книгъ для вагона, небрежно отвѣтилъ: «Правда, но я другого чтенія не люблю».

Итакъ, онъ вообще не любилъ беллетристики; самое тяжеловѣсное чтеніе его не утомляло, не требовало особыхъ условій или особаго настроенія. Перечитывать образцы художественной литературы ему поэтому не было ни времени, ни охоты: разъ прочтя подобную книгу, съ ней ознакомившись, онъ не видѣлъ нужды снова къ ней возвращаться. Но онъ ея не чуждался. Иное приходится сказать про беллетристику современную и про такъ называемое легкое чтеніе. Ея онъ избѣгалъ; случайно иногда онъ бралъ что-нибудь новенькое у своихъ дѣтей или знакомыхъ, но скоро бросалъ ихъ съ какой-то досадой. И чѣмъ разче, правдивѣе и безпощаднѣе описывалась въ нихъ современная жизнь, тѣмъ болѣе она отталкивала, почти пугала его. И это представляется мнѣ любопытнымъ потому, что это согласно съ его общимъ обликомъ, его интересами. Право, философія, исторія, героическая повѣсть религіозной исторіи, крупные люди, крупныя событія, міровыя идеи — таковъ былъ тотъ міръ понятій и образовъ, въ которомъ онъ жилъ, на которомъ онъ воспитался, который привлекалъ къ себѣ его мысль и вниманіе; эти интересы и помыслы настраивали его на болѣе высокій тонъ, чѣмъ тонъ обыденной

дѣйствительности, внушали ему другія точки зрѣнія, другія оцѣнки, чѣмъ тѣ, на которыхъ строится современность; онъ жилъ какъ бы въ иномъ мірѣ, былъ оторванъ отъ жизни, утрачивалъ часто ключъ къ ея пониманію. И это можно было замѣтить на его отношеніи къ людямъ, на его оцѣнкѣ людей.

Принято думать, что Плевако, какъ искусный уголовный защитникъ, былъ тонкимъ психологомъ, знатокомъ человѣческаго сердца. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе этого взгляда. Плевако былъ великій мастеръ изображать человѣческую душу — это правда. Но онъ не имѣлъ дара въ нее проникать; мало было людей, кого было такъ легко обмануть и кого такъ много обманывали; онъ долгіе годы не замѣчалъ, что́ у него дѣлалось подъ глазами, какіе люди имѣли его довѣріе. Онъ не даромъ жилъ въ мірѣ героевъ и чуждался современной литературы, этого зеркала дѣйствительности, какъ цѣломудренныя женщины инстинктивно чуждаются фривольнаго чтенія. Въ оцѣнкѣ людей онъ былъ человѣкомъ прежняго вѣка; несмотря на всю жизнерадостность и веселость, я готовъ назвать его трагикомъ. Онъ не понималъ ничтожества причинъ и мотивовъ, которые ведутъ къ большимъ результатамъ, мелочности человѣческаго духа и человѣческихъ ощущеній. Мнѣ приходилось видѣть это непониманіе искреннее и недоумѣвающее; приходилось наблюдать, какія сложныя объясненія онъ придумывалъ для того, чтобы объяснить себѣ то, что, къ несчастью, было такъ просто. Онъ былъ неисправимымъ оптимистомъ человѣческой природы. Ему всюду мерещилась драма; и если онъ простой фарсъ иногда превращалъ въ драму, то, конечно, никогда у него, подобно другимъ, драма не становилась фарсомъ. Въ самомъ обыкновенномъ фактѣ онъ ухитрялся видѣть красивый поступокъ, усматривалъ порывъ добра въ простой трусости или дальновидномъ расчетѣ. Онъ былъ поразительный мастеръ въ описаніи любовныхъ исторій, понималъ все — страсть, ревность, измѣну, обманъ, преступленіе, обольщенія. Но онъ не могъ бы понять одного: холоднаго спокойнаго разврата, какъ героиня Марселя Прево не понимала хладнокровнаго адюльтера молоденькой внучки. Въ равнодушномъ и осторожномъ эгоизмѣ людей

ему чудилась и душевная борьба, и страданія, и катастрофа паденія. Тотъ исключительный міръ, въ которомъ онъ воспитался и жилъ, научилъ его на дѣйствительность смотрѣть иными глазами; всѣ свойства людей представлялись ему ярче, чѣмъ были; изъ всѣхъ красокъ, которыя должны быть на палитрѣ художника, ему нехватало только сѣрой, излюбленной краски нашего времени. Самъ человѣкъ крупнаго калибра, широкаго размаха, одинъ изъ тѣхъ, про кого поэтъ говорилъ: наши силы неравныя, я ни въ чемъ середины не зналъ, — Плевако невольно всѣхъ мѣрилъ на тотъ же аршинъ, и въ его описаніи каждый человѣкъ оказывался или могъ оказаться героемъ трагедіи. И когда онъ встрѣчалъ скупца, то онъ сразу видѣлъ въ немъ «Скупого рыцаря», а не Плюшкина.

Таковъ былъ складъ ума Плевако, поскольку онъ былъ данъ ему отъ природы и дополненъ образованіемъ. Но это еще не опредѣляетъ оратора; все это средства. L'esprit est toujours la dupe du coeur — говорилъ великій скептикъ и пессимистъ Larochefoucauld. Чтобы понять оратора, особенность его краснорѣчія, надо понять его личность, его характеръ и вкусы; и личность Плевако такъ своеобразна, что это было бы страшно трудной задачей, если бъ она не облегчилась недавно съ неожиданной стороны.

Въ этомъ году вышла коллективная работа подъ общимъ названіемъ Вѣхи, поставившая цѣлью нарисовать образъ русскаго интеллигента, какимъ онъ создался нашей исторіей. Я не осложняю своей темы вступленіемъ въ эту полемику; не сужу, тактично ли было издавать эту книгу въ настоящій моментъ, нѣтъ ли въ ней страстныхъ преувеличеній и т. д. Обо всемъ этомъ можно спорить. Но едва ли и противникъ книги не согласится, что много основныхъ чертъ русскаго интеллигента въ ней подмѣчены вѣрно. И эти черты могутъ быть реактивами для оцѣнки Плевако. Стоитъ спросить себя, были ли онѣ и въ Плевако, чтобы понять, въ чемъ было его своеобразіе. Да, онъ былъ воплощеннымъ противорѣчіемъ. Глубоко русскій человѣкъ по духу, котораго своимъ призналъ голосъ народа, Плевако былъ по крови инородецъ; русской крови въ немъ не было ни капли; отецъ его былъ полякъ, мать — башкир-

ка Оренбургскоїи орды. Человѣкъ, который добился своего положенія не связями, не наслѣдственнымъ богатствомъ, не покровительствомъ, вся сила котораго въ талантѣ, умѣ, знаніи, въ интеллигентной профессіи, словомъ, типичный интеллигентъ, онъ былъ другоїи рѣдкостью: интеллигентомъ безъ интеллигентскаго облика. Русскій не русскоїи крови, интеллигентъ безъ интеллигентнаго типа, въ связи съ тѣмъ орудіемъ воздѣйствія на людей, которымъ его одѣлила природа, — таково было то своеобразное сочетаніе свойствъ, которое породило «Плеваку». Я не берусь за его полную характеристику. Она вышла бы за рамки доклада; но она сдѣлана за меня. Перечтите характеристику русскаго интеллигента въ Вѣхахъ съ его достоинствами и недостатками и возьмите въ ней антипода, — вы получите фигуру Плевако.

Я позволю себѣ привести только два-три примѣра, чтобы пояснить мою мысль.

Нашу интеллигенцію обвиняютъ въ нерелигіозности; я не буду входить въ вопросъ, насколько это обвиненіе правильно. Пусть это ошибка или по крайней мѣрѣ преувеличеніе. Мнѣ достаточно указать, насколько къ Плевако этотъ упрекъ ни въ какомъ случаѣ относиться не могъ бы. Религіозность была одноїи изъ основныхъ чертъ его личности; и не только въ общемъ философскомъ смыслѣ исканія Бога, не только въ томъ религіозномъ настроеніи, которое, какъ у Льва Толстого, мирится съ отрицаніемъ Церкви и даже ведетъ къ ея отрицанію, но въ смыслѣ гораздо болѣе узкомъ; онъ былъ церковникомъ, православнымъ, вѣрующимъ, преданнымъ и послушнымъ сыномъ своей Церкви.

Это чувство онъ пронесъ черезъ всю жизнь, до старости, до смерти. Оно было у него въ раннемъ дѣтствѣ; было и тогда не пассивнымъ состояніемъ ума, а мотивомъ, побуждавшимъ къ поступкамъ; онъ разсказывалъ какъ-то какъ однажды въ дѣтствѣ это чувство вылилось у него въ комическую форму, создало цѣлыи инцидентъ. Увѣренныи, что внѣ христіанства нѣтъ спасенія, онъ, еще мальчишкой въ Троицкѣ, рѣшилъ спасти своихъ сверстниковъ, друзей-татарчатъ; купаясь съ ними въ рѣкѣ, онъ затѣялъ какую-то игру, по котороїи всѣ ребята должны были трижды

нырнуть. Ничего не подозрѣвая, они это исполнили, онъ же въ это время быстро произносилъ—во Имя Отца и Сына и Святого Духа, а по окончаніи игры поздравилъ ихъ съ окрещеніемъ. Мальчики подняли ревъ, ихъ отцы ходили жаловаться отцу Плевако, чиновнику, и Плевако довелось въ очень нѣжную пору стать не только проповѣдникомъ, но и мученикомъ Религіозная экзальтація въ дѣтскіе годы — не рѣдкость; но Плевако сохранилъ ее въ юности, когда обыкновенно человѣческая душа проходитъ полосу невѣрія и отрицанія; его товарищи по студенчеству помнили, какъ и въ ту пору Плевако покидалъ пирушки для церкви, любилъ вставать съ пѣтухами, чтобы не опоздать къ ранней обѣднѣ. Позднѣе я видѣлъ самъ проявленіе этой глубокой религіозности; видѣлъ, какъ онъ возилъ съ собой маленькій образъ, вѣшая его надъ постелью даже на желѣзной дорогѣ; по дурной привычкѣ, входя въ его комнату, не дожидаясь отвѣта на стукъ, не разъ заставалъ его въ позѣ, которая не оставляла сомнѣнія въ томъ, что онъ дѣлалъ; видалъ, какъ онъ уходилъ помолиться въ маленькую церковь, гдѣ бы его не узнали, гдѣ бы онъ могъ остаться никѣмъ не замѣченнымъ. Въ оставшихся послѣ его смерти бумагахъ можно найти много молитвенныхъ изліяній, изъ которыхъ ясно становится, что молитва была для него душевной потребностью и отрадой.

Это настроеніе не ограничилось областью чувства; оно не боялось изученія, критики. Богословскій, историко-религіозный отдѣлъ былъ однимъ изъ богатѣйшихъ и любимѣйшихъ въ его библіотекѣ; этого рода книги съ его стола не сходили. Свѣдѣнія его по этой части были громадны. Правда, онъ ими не пользовался; не торопился ни высказать своихъ знаній, ни ихъ эксплоатировать; многое, очень многое съ нимъ и погибло, безъ слѣда и безъ пользы, если не считать того вліянія, которое оно могло оказать на весь его складъ. Только невзначай можно было убѣдиться, какъ много онъ зналъ въ этой отрасли; случалось о чемъ-либо спросить его, и съ обычной словоохотливостью отвѣчая на вопросъ, онъ немедленно увлекался, разсказывалъ больше, чѣмъ нужно, массу цитировалъ наизусть и показывалъ, какъ много матеріала было въ немъ скрыто, но всегда наготовѣ.

Но эта религіозность, скажу яснѣе, «церковность», единеніе съ Церковью, какъ учрежденіемъ, полное единомысліе съ ней въ условной формѣ общенія съ Богомъ, глубокая вѣра въ то, что въ Церкви вся истина, не заслонила въ немъ сознанія, что религіозное достоинство человѣка въ исканіи истины, въ искренности, въ полной свободѣ. Никто не относился съ бо́льшимъ уваженіемъ къ религіозному образу мыслей другого, какимъ бы это ни казалось заблужденіемъ, и съ бо́льшимъ отвращеніемъ не глядѣлъ на всякое насиліе въ этой области. Онъ былъ другомъ Побѣдоносцева, передалъ синоду около милліона Медынцевскихъ денегъ. Все это правда. Но онъ же былъ ревностнымъ защитникомъ старообрядчества, отстаивалъ ихъ права и на проповѣдь, и на имущество, воюя противъ притязаній воинствующаго православія — и дѣлалъ это не по безпринципности, какъ многіе говорили, а, напротивъ, во имя того самаго принципа, которымъ было для него его религіозное чувство. Уваженіе къ старообрядцамъ сидѣло въ немъ очень глубоко; я помню, какъ задолго до указа 17 апрѣля, совѣтуясь съ нимъ по какому-то дѣлу, я нѣсколько разъ употребилъ слово «раскольникъ»; онъ мнѣ сказалъ: «Вотъ слово, которое я никогда не употребляю и совѣтую вамъ изъ словаря исключить. Говорите просто: старообрядецъ — это и правильнѣе, и приличнѣе». Указъ 17 апрѣля былъ для него истиннымъ праздникомъ; и если бы онъ дожилъ до обсужденія въ Думѣ закона о старообрядцахъ, то — всѣ это чувствовали — онъ сказалъ бы одну изъ тѣхъ рѣчей, въ которыхъ выливается все существо, любимѣйшее убѣжденіе человѣка.

И не къ одному старообрядчеству, исконной формѣ нашего православія, онъ относился съ такой любовью и уваженіемъ; такимъ было его отношеніе ко всякой религіи. Когда онъ былъ въ Римѣ—уже въ 1904 г.,—то былъ на пріемѣ у папы. Идучи къ нему, онъ передавалъ мнѣ то, что собирался сказать ему, если бы ему пришлось говорить; это былъ варіантъ на его любимую тему, что вѣра одна, что Богъ одинъ, что и католики, и православные не могутъ чувствовать себя ни врагами, ни даже соперниками.

И, можетъ быть, ни въ чемъ это глубокое уваженіе къ чужой вѣрѣ и мнѣнію не сказалось такъ ярко, какъ въ его

отношеніи къ такому отрицателю Церкви, какъ Левъ Толстой; православіе Плевако не мѣшало ему благоговѣть передъ Толстымъ даже въ его богословскихъ трудахъ. Онъ говорилъ про сочиненіе «Въ чемъ моя вѣра», что Толстой — самый настоящій, истинный христіанинъ, ибо болѣзненно страстно вѣритъ въ Христово ученіе, хочетъ его постичь и исполнить. Язвительныя насмѣшки надъ обрядами и таинствами въ «Воскресеніи» его огорчили; онѣ были ему непріятны; здѣсь было задѣто, умышленно и зло задѣто, чужое религіозное убѣжденіе. Это не похоже на Толстого, говорилъ онъ; и прежде всего — это не художественно. Но тотъ же Плевако пришелъ въ еще большее огорченіе отъ попытки синода отлучить Толстого отъ Церкви; дѣлая уступку своему православному настроенію, онъ признавалъ, что синодъ могъ осудить толтовскіе взгляды, чтобы помѣшать соблазну другихъ, но онъ не долженъ былъ нападать на его личность. И когда вслѣдъ за синодскимъ рѣшеніемъ появилось письмо къ митрополиту Антонію граф. С. А. Толстой и оно распространялось рукописнымъ способомъ, нѣсколько экземпляровъ такого письма были собственноручно написаны самимъ Плевако на Ремингтонѣ.

Да, онъ былъ религіозенъ, и именно потому, въ предреволюціонное время, когда священникамъ было предписано для охраненія порядка заняться политическими проповѣдями и когда онъ увидѣлъ въ этомъ то, что ненавидѣлъ всю жизнь, подчиненіе Церкви политикѣ, онъ, Плевако, протестовалъ противъ этого мотивированнымъ сложеніемъ съ себя званія церковнаго старосты.

Такъ былъ онъ не похожъ на оба противоположные и наиболѣе распространенные типа: на проповѣдниковъ свободы совѣсти изъ интеллигентскаго индиферентизма, и на насильниковъ совѣсти изъ религіознаго фанатизма. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ, очень рѣдкихъ, но тѣмъ болѣе драгоцѣнныхъ представителей страстнаго религіознаго чувства, которые во имя его самого отреклись отъ насилія и понятнымъ для вѣрующихъ христіанъ языкомъ говорятъ для нихъ къ сожалѣнію непривычныя вещи.

Другая черта, въ которой упрекаютъ интеллигенцію, это — космополитизмъ, отсутствіе живого національнаго чув-

ства. И опять Плевако былъ полной и яркой противоположностью такому упреку. И не въ томъ дѣло, что онъ былъ патріотомъ, который всѣмъ сердцемъ болѣлъ о судьбѣ русскаго государства, страдалъ отъ его униженія; я помню, какъ рано утромъ, въ халатѣ онъ поднялъ меня съ постели и съ ужасомъ и какимъ-то отчаяніемъ принесъ вѣсть о гибели Петропавловска; помню, съ какимъ непохожимъ на него негодованіемъ онъ мнѣ писалъ изъ-за границы (при началѣ войны онъ былъ тамъ) о ходившей въ то время сплетнѣ о сочувственной телеграммѣ студентовъ микадо.

Не это типично; кромѣ этого обычнаго патріотизма, который во время войны запылалъ даже у Льва Толстого, несмотря на принципіальное его отрицаніе, у Плевако былъ тотъ національнзмъ, та непреодолимая любовь къ своему, мирная и трогательная, которую такъ чудно выразилъ Лермонтовъ въ стихотвореніи «Люблю отчизну я, но странною любовью». Плевако любилъ русскую жизнь, русскую природу, русскую душу; любилъ типичное, своеобразное проявленіе нашего національнаго склада. Его инстинктивно тянуло туда, гдѣ этотъ складъ наиболѣе сохранился, былъ наименѣе затушеванъ общей культурой, гдѣ было легче сказать: здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ. Не изъза одной религіозности, а также изъ-за того чувства онъ любилъ жизнь нашего духовенства, монастырскій чинъ и порядокъ. Среди нихъ онъ былъ свой человѣкъ; и если онъ былъ охотникъ втихомолку, незамѣтно забрести въ церковь и помолиться, то не менѣе любилъ на торжественномъ праздникѣ отстоять церковную службу, пойти на чай или завтракъ къ игумену или игуменьѣ, съ умиленнымъ, радостнымъ выраженіемъ на лицѣ смотрѣть на почетныхъ гостей, вести чинные разговоры. Онъ любилъ наше купечество; не новую, европейски образованную буржуазію. Ея, напротивъ, онъ не любилъ; конечно, какъ всегда, нелюбовь къ классу не мѣшала ему любить и уважать отдѣльныхъ ея представителей. Но класса онъ не любилъ; среди немногихъ политическихъ и соціальныхъ взглядовъ, которые у него были, я отъ него всего чаще слышалъ одинъ: что наша буржуазія хуже дворянства, что она больше его сдѣлаетъ зла мужику. Быть можетъ, и въ этомъ сказывалось инстинктивное пред-

почтеніе національнаго бытового явленія, съ его своеобразною формою, порожденію консмополитическаго капитализма; но зато онъ любилъ вымирающій купеческій типъ, съ его патріархальными вкусами, любовью къ старинѣ, неуклюжестью въ перениманіи европейскихъ привычекъ; любилъ это противорѣчіе между скромностью одежды и жилища и колоссальнымъ богатствомъ, недостатокъ образованія, замѣняемый природною смѣткой, отсутствіе лоска и воспитанія. И больше всего любилъ русскую крестьянскую жизнь; человѣкъ, жившій въ относительной роскоши (сытый, давно сытый человѣкъ, — сказалъ онъ про себя въ рѣчи о люторичскихъ крестьянахъ), умершій дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, Плевако остался самымъ глубокимъ демократомъ не по убѣжденію, а по инстинкту, по всему складу характера и міровоззрѣнія. Будучи принципіальнымъ сторонникомъ культуры, разорявшійся на сельскохозяйственныхъ улучшеніяхъ, Плевако даже къ отсталости, къ некультурности нашего мужика чувствовалъ ту трогательную любовную нѣжность, которую мать питаетъ къ шалостямъ и недостаткамъ дѣтей. Русское «авось» и «небось», практическую неумѣлость, наивную, недальновидную недобросовѣстность, недовѣріе къ новизнѣ, даже пьяный разгулъ осуждалъ онъ умомъ, а не чувствомъ; они вызывали въ немъ не негодованіе, не досаду, а какую-то добродушную снисходительность, какъ къ чему-то родному и милому.

Помню, какъ однажды, по дорогѣ въ Крапивну, на защиту, зимой, мы остановились среди поля, такъ какъ у мужика, который насъ везъ, развязалась вся упряжь; пока мужикъ, охая и кряхтя, недоумѣвалъ, что такое случилось, а я злился не только на то, что мы принуждены зябнуть среди поля, но особенно, что все это случилось близко отъ станціи, гдѣ было время пересмотрѣть, хорошо ли было запряжено, Плевако началъ комично описывать, какъ этотъ мужикъ утромъ всталъ, какъ онъ видѣлъ, что упряжа плоха, но понадѣялся, что до станціи довезетъ, какъ на станціи онъ замѣтилъ, что она еле держится, но понадѣялся, что доѣдетъ до кузни и т. д. И все это описывалъ безъ всякой досады, съ такой нѣжностью, съ такимъ добродушіемъ, что было видно, что это русское разсужденіе для него много

милѣе, чѣмъ американская предпріимчивость или нѣмецкая аккуратность. Помню, какъ на одномъ фабричномъ процессѣ, гдѣ рабочіе разнесли и фабрику, и кабакъ, онъ съ какой-то лаской, даже сучувствіемъ разспрашивалъ ихъ, какъ это случилось, вмѣстѣ съ ними добродушно смѣясь надъ тѣмъ, что они сдѣлали. И если онъ такъ относился къ отрицательнымъ сторонамъ русской жизни, потому только, что онѣ были глубоко, истинно русскими, то можно судить, какъ смотрѣлъ онъ на другія положительныя ея проявленія: на хозяйственность, религіозность, семейственность; какъ любилъ онъ поговорить съ такимъ мужикомъ, посидѣть у него въ избѣ, попить чаю, разспросить обо всемъ, что онъ думалъ, что слышалъ, на что онъ надѣется; какъ скоро они понимали другъ друга, какъ много общаго находили другъ въ другѣ, несмотря на всю разницу положенія, образованія. До какой степени не чувствовалось у него съ крестьянами никакой натянутости, никакой фальши, никакой преграды между бариномъ и мужикомъ! Не оттого ли ни по какимъ дѣламъ Плевако не боялся «сѣрыхъ» составовъ присяжныхъ, не боялся, что доводы его не подѣйствуютъ, не будутъ усвоены, что между нимъ и присяжными окажется пропасть и они не смогутъ понять того, что мы понимаемъ?

Любилъ Плевако и типичныя проявленія русской семейной жизни, любилъ всякія домашнія торжества, свадьбы, именины, крестины. На своемъ вѣку онъ крестилъ сотни дѣтей всякихъ состояній и ранговъ. Въ городѣ Троицкѣ мы пробыли 4 дня на процессѣ, но крестника онъ тамъ все-таки пріобрѣлъ.

Человѣкъ, который такъ много любитъ, не можетъ долго сердиться; и въ самой тѣсной связи съ этимъ свойствомъ Плевако стоитъ та особенность его характера, въ которой рѣзче, чѣмъ въ чемъ-либо, сказывается его отличіе отъ типичнаго интеллигента. Авторы Вѣхъ указали, что главнымъ мотивомъ дѣятельности интеллигента является злоба, ненависть, отрицаніе. Можетъ быть, это сужденіе преувеличено, но было бы несправедливо его отрицать; мы создали понятіе «святая ненависть»; нашъ поэтъ говорилъ: «то сердце не научится любить, которое устало ненавидѣть».

Этого чувства не только нельзя отрицать, его не слѣдуетъ и осуждать. Въ такой ненависти часто здоровый корень, она безконечно выше безразличія и равнодушія. Однако было бы ошибочно думать, что желаніе лучшаго, любовь къ идеалу съ «святою ненавистью» неразлучно: чтобы любовь къ «дальнему» непремѣнно предполагала ненависть къ ближнему.

Конечно, бываетъ и часто бываетъ, что, любя идеалъ, т.-е. созданіе собственной мысли, искренно ненавидишь дѣйствительность за то, что она этому идеалу не соотвѣтствуетъ; это отношеніе доктриперовъ-политиковъ, отношеніе честныхъ и добросовѣстныхъ педагоговъ; всѣ они достойны глубокаго уваженія, но кромѣ вреда рѣдко что дѣлаютъ. Но всегда такое проявленіе любви къ идеалу не обязательно; и любящіе родители могутъ видѣть недостатки дѣтей, могутъ навѣрное не менѣе педагоговъ желать приближенія своихъ дѣтей къ совершенству; но ненавидѣть ихъ за это не станутъ. Отъ этого ихъ спасетъ неразумная, инстинктивная привязанность къ дѣйствительнымъ дѣтямъ, съ ихъ слабостями и ихъ недостатками. То же самое было съ Плевако. Было бы неправильно думать, что онъ не имѣлъ идеала; правда, онъ гораздо менѣе интересовался порядками, чѣмъ человѣкомъ; но тотъ идеалъ, въ которомъ онъ видѣлъ назначеніе человѣка, былъ, конечно, не ниже того, который большинство носитъ въ душѣ. Дѣйствительный человѣкъ, дѣйствительная жизнь мало ему соотвѣтствуетъ. Но у Плевако было нѣчто другое, кромѣ любви къ идеалу; въ немъ была любовь дѣйствительности, духовная близость, родство, сходство съ этой дѣйствительностью. Эта любовь не дала развиться злобному чувству. Чувство «святой ненависти» Плевако органически не понималъ. Онъ самъ сознавалъ, что въ этомъ пунктѣ цѣлая пропасть отдѣляетъ его отъ другихъ. Задолго до того, какъ были написаны Вѣхи и серьезными и честными людьми былъ поставленъ вопросъ о дефектахъ интеллигенціи, Плевако говорилъ про ея типичныхъ представителей, про ту молодую адвокатуру, съ которой онъ сблизился на склонѣ жизни и дѣятельности. «Удивительное дѣло, — говорилъ онъ, — вы прекрасно защищаете, но только тогда, когда можете обрушиться на кого-

нибудь; только это чувство васъ и вдохновляетъ, безъ этого у васъ ничего не выходитъ». Онъ не могъ не замѣтить этого, такъ какъ въ этомъ была его главная оригинальность. И никогда, быть можетъ, эта черта его характера не проявлялась такъ ясно, какъ когда событія и люди затащили его въ политическую дѣятельность, и притомъ въ то трудное время, когда вся эта дѣятельность свелась къ междоусобію и перебранкѣ. Этого онъ не умѣлъ. Въ самый разгаръ политической распри, когда родные изъ-за политики ссорились и расходились врагами, Плевако никого не разлюбилъ, ни съ кѣмъ не поссорился. Я помню, какъ во время выборной агитаціи передъ 3-й Думой, мы какъ противники выступали съ нимъ на различныхъ собраніяхъ, и онъ самъ заходилъ за мной, и мы вмѣстѣ пріѣзжали и уѣзжали на его лошади. Своей терпимостью, благодушіемъ, уваженіемъ къ противоположному взгляду онъ обезоруживалъ противниковъ и огорчалъ друзей и союзниковъ. Впрочемъ, самая мысль сдѣлать его членомъ партіи и особенно агитаторомъ могла исходить только отъ людей, которые его недостаточно знали, и если знали, то недостаточно оцѣнили.

И мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ объ этой полосѣ его жизни, о Плевако, какъ о политикѣ, такъ какъ ничто не можетъ внушить такого невѣрнаго о немъ представленія, какъ посмертное восхваленіе его партійной и вообще политической дѣятельности.

Онъ никогда близко не интересовался политикой; для этого онъ былъ слишкомъ христіанинъ. Онъ интересовался, какъ я уже сказалъ, не порядками, а людьми; порядками только поскольку въ нихъ принуждена была проявляться душа человѣка. Съ государственнымъ правомъ онъ былъ знакомъ, какъ со всякимъ правомъ; но это былъ больше теоретическій интересъ. Онъ врядъ ли имѣлъ опредѣленный взглядъ на то, какая реформа въ политическомъ строѣ нужна Россіи, врядъ ли и задумывался серьезно надъ этимъ. Онъ пробовалъ заниматься общественной дѣятельностью, въ мѣстномъ самоуправленіи, и земскомъ, и городскомъ. Его тамъ любили, какъ его любили всѣ, кто его зналъ; но онъ ничѣмъ тамъ не выдвинулся и вліянія не имѣлъ. Но полити-

ческая горячка освобожденія захватила и его, какъ многихъ самыхъ равнодушныхъ къ политикѣ. Самый манифестъ 17 октября привелъ его въ восхищеніе; онъ услышалъ дорогія слова о свободѣ и о законности. Въ этотъ моментъ ему казалось, что политическая дѣятельность стала долгомъ каждаго; съ какой-то дѣтской радостью, несмотря на болѣзнь, онъ мечталъ стать депутатомъ. Путь туда шелъ черезъ партіи, и вотъ по иронiи судьбы, такъ какъ первой открытой партіей, образованной послѣ 17 октября, была партія его позднѣйшихъ противниковъ, партія народной свободы, то едва она опубликовала программу, какъ онъ пришелъ ко мнѣ просить записать его въ ея члены. Я его отговаривалъ; Плевако — и политическая партія и партійная дисциплина были contradictio in adjecto. Онъ отшучивался противъ моихъ возраженій и настаивалъ. Но отдѣлаться отъ него всегда было очень легко. Я не поддерживалъ этого разговора, а онъ про него скоро забылъ. А черезъ нѣсколько времени пришелъ ко мнѣ торжественно заявить, что его пригласили вступить въ партію октябристовъ.

Я думаю, что даже недобросовѣстные полемисты не заподозрятъ меня въ желаніи оттягать Плевако отъ октябристовъ и сдѣлать его посмертнымъ кадетомъ; конечно, никогда онъ кадетомъ не былъ и быть не могъ, и его просьба не означала ничего, кромѣ желанія куда-нибудь приписаться: когда онъ объ этомъ просилъ, да и позже, о кадетской программѣ онъ имѣлъ самое смутное представленіе; представленіе это, впрочемъ, соотвѣтствовало и степени его интереса къ программамъ. Интересоваться онъ могъ развѣ только людьми, которые въ этой партіи дѣйствовали. Итакъ, кадетомъ онъ не былъ, но былъ и совершенно такимъ же октябристомъ. Горячимъ поклонникомъ манифеста онъ былъ — это правда; съ любовью и уваженіемъ относился ко многимъ дѣятелямъ октябристовъ — тоже правда. Но этимъ и ограничивалось его отношеніе къ партіи; ея программу, тактику, цѣль онъ зналъ только, поскольку ему про нихъ разсказали, и забывалъ, какъ только услышалъ.

Онъ и не могъ быть не только партійнымъ, но и вообще политическимъ, государственнымъ дѣятелемъ; ничто не было такъ чуждо всему его облику и характеру; эта дѣятельность

требуетъ извѣстной жестокости и безпощадности, способности во имя общаго блага причинять зло и огорченіе личности. Для нея нужна если не «святая ненависть», то все-таки умѣнье не руководствоваться болѣе всего жалостью и состраданіемъ къ отдѣльному человѣку. Это было бы слишкомъ тяжело для Плевако. Ибо основной, главной чертой его отношенія къ людямъ были сердечный къ нимъ интересъ, неизмѣнное дружелюбіе и доброжелательность. Въ немъ не было ничего, что могло бы заставить его пожертвовать человѣкомъ: ни вѣры въ исключительную спасительность опредѣленныхъ государственныхъ формъ, ни преданности доктринѣ, ни происходящей отъ нея нетерпимости. Онъ дружилъ съ людьми самыхъ противоположныхъ взглядовъ и общественныхъ положеній; находилъ въ каждомъ нѣчто достойное интереса и уваженія и просто не замѣчалъ того, что раздѣляло другихъ. Терпимость его доходила до неразборчивости; для него было совсѣмъ просто и естественно любить Побѣдоносцева и быть закадычнымъ другомъ гонимыхъ имъ старообрядцевъ. Онъ не понималъ, что̀ могло быть страннаго въ этомъ, какъ можно было чуждаться человѣка изъ-за несогласія съ нимъ. Я могъ убѣдиться, что этого онъ дѣйствительно не понималъ. Припоминаю страницу изъ прошлаго: я зналъ Плевако еще со студенчества, такъ какъ онъ былъ друженъ съ моимъ покойнымъ отцомъ. Когда я поступилъ въ адвокатуру, то нашелъ въ извѣстной части ея рѣзко отрицательное къ нему отношеніе; въ то время были партіи въ адвокатурѣ, которыя трудно назвать, еще труднѣе опредѣлить. Одна изъ этихъ партій, старая, совѣтская, реакціонная, какъ тогда говорили, считала Плевако своимъ, другая, партія молодой радикальной адвокатуры была къ нему враждебно настроена. Враждебность эта дошла до того, что когда Плевако однажды черезъ меня предложилъ молодой, организованной въ такъ называемый «бродячій клубъ» адвокатурѣ прочесть имъ рядъ лекцій подъ общимъ заглавіемъ «адвокатская тактика», то объ этомъ нѣсколько вечеровъ подъ рядъ шли оживленныя пренія, закончившіяся постановленіемъ отъ этого предложенія отказаться. Въ исторіи нашей русской нетерпимости я не знаю примѣра болѣе характернаго. Въ числѣ принимав-

шихъ участіе въ этомъ рѣшеніи почти никто Плевако не зналъ; въ числѣ доводовъ противъ него приводили такіе, что онъ былъ «защитникомъ» игумены Митрофаніи. Ясно, что причиной этого была только партійная нетерпимость, то клеймо, штемпель, который стоялъ на Плевако. И въ этомъ случаѣ мнѣ пришлось видѣть, какъ самъ Плевако относился къ этимъ вопросамъ. Судьба избавила меня отъ неловкости сообщить ему странный отвѣтъ на его предложеніе; Плевако также забывалъ свои предложенія, какъ и свои обѣщанія; онъ забылъ и про это раньше, чѣмъ узналъ, какъ его приняли. Но въ связи съ этимъ мнѣ пришлось говорить съ нимъ о партіяхъ въ адвокатурѣ. Я могъ самымъ наглядным образомъ убѣдиться, какое недоразумѣніе было его причисленіе къ партіи. Самъ онъ не былъ въ этомъ повиненъ; имъ распоряжались другіе; одни безъ всякаго права его объявили своимъ, другіе тоже безъ основаній его признали врагомъ. Ко всему, что дѣлали съ его именемъ, онъ относился совсѣмъ безразлично; онъ равно столько же соглашался съ противниками, сколько расходился съ своими; при выборахъ голосовалъ за многія имена противоположнаго списка. Все дѣло для него было не въ партіи, не въ программѣ, а въ лицахъ; онъ не могъ понять вражды и отрицательнаго отношенія къ человѣку только изъ-за того, что онъ другой партіи. Онъ не видѣлъ ничего страннаго въ томъ, что обратился съ своимъ предложеніемъ лекціи къ своимъ партійнымъ врагамъ; ему не пришло въ голову, что этимъ онъ создаетъ какой-то партійный вопросъ, что его могутъ тамъ не любить. И если бы онъ узналъ про рѣшеніе, которое тамъ состоялось, то я не сомнѣваюсь въ одномъ: при всемъ напряженіи мысли онъ бы понять его не сумѣлъ.

Но было мало сказать, что партійныя соображенія его отъ людей не отталкивали; такое свойство было бы лишь отрицательнымъ. Отношеніе его къ людямъ было другое; онъ былъ полонъ дружелюбія, доброжелательности, говоря проще, любви къ человѣку. Ничего не могло въ немъ этого чувства уменьшить. Въ немъ не было ни желанія властвовать, ни зависти къ чужому добру и успѣху, ни мелочного тщеславія. Весь его характеръ привлекалъ его къ

людямъ, не къ вымыслу, не къ «дальнему человѣку», а къ живымъ, существующимъ людямъ, въ разнообразіи ихъ недостатковъ и качествъ.

Онъ легко сходился съ людьми, скоро къ нимъ привыкалъ, къ нимъ привязывался, радовался ихъ успѣхамъ и счастью, цѣнилъ все то хорошее, что въ нихъ открывалъ, легко прощалъ имъ всякія слабости. Ему никогда ни съ кѣмъ не было скучно; онъ быстро входилъ въ кругъ чужихъ интересовъ и нуждъ, разузнавалъ всю ихъ жизнь и съ такой же легкостью и наивностью, за которую не разъ бывалъ жестоко наказанъ, проникался къ нимъ откровенностью, раскрывалъ имъ и свои задушевныя тайны. Рѣдкая его экспансивность въ связи съ способностью совершенно чистосердечно все и у себя и у другихъ преувеличивать, конечно, имѣла свою обратную сторону; никакой человѣкъ не можетъ вмѣщать въ себѣ столько разнообразныхъ увлеченій, интересовъ, заботъ; поэтому они проходили такъ же быстро, какъ приходили. Увлеченіе однимъ человѣкомъ уступало мѣсто другому. Пословица «съ глазъ долой — изъ сердца вонъ» не ошибалась. Тѣ, которые принимали его интересъ къ себѣ, какъ нѣчто должное и окончательное, вѣрили въ серьезъ тѣмъ обѣщаніямъ, на которыя онъ былъ щедръ до безконечности, полагались на его слово — постоянно рисковали попасть въ положеніе Вальмажура, довѣрившагося Нумѣ Руместану. Разсѣянность и неаккуратность его были анекдотичны. Помню, какъ однажды, заставъ у себя въ пріемной трехъ человѣкъ, пришедшихъ по его приглашенію, онъ извинился, что принять ихъ не можетъ, и тутъ же назначилъ имъ свиданіе въ одинъ и тотъ же часъ въ терхъ разныхъ мѣстахъ, у Тѣстова, въ Славянскомъ Базарѣ и еще не помню гдѣ. Пообѣщавъ каждому не опоздать, быть вполнѣ пунктуальнымъ, онъ вновь убѣжалъ, а они остались въ недоумѣніи, вопросительными глазами глядя другъ на друга. «Кто же изъ нихъ будетъ обманутъ?» Онъ ихъ примирилъ. Обманулъ одинаково всѣхъ, и въ назначенный часъ былъ въ четвертомъ мѣстѣ, гдѣ его никто не ждалъ и не звалъ. Эти свойства создавали ему много враговъ, рождали много нелестныхъ легендъ; но сердиться за нихъ на него могъ только тотъ, кто его ближе не зналъ.

Онъ забывалъ то, что самъ обѣщалъ, такъ же легко, какъ и то, что ему обѣщали другіе; ни отъ кого не требовалъ большаго, чѣмъ давалъ самъ другому. Его многіе не умѣли понять и платились за это — это правда; но зато другіе хорошо поняли, и искусно этимъ пользовались.

Не эти качества все-таки дѣлаютъ партійныхъ лидеровъ и вообще политическихъ дѣятелей; нѣтъ сомнѣнія, что если бы Плевако не умеръ такъ рано, онъ ушелъ бы изъ Думы, не сжился съ ней, съ ея атмосферой. Онъ не могъ бы понять, почему люди ненавидятъ другъ друга, не говорятъ того, что думаютъ, руководятся какими-то скрытыми соображеніями; въ немъ скоро изсякъ бы интересъ къ этой дѣятельности, и онъ ушелъ бы отъ нея туда, гдѣ была его сила, гдѣ онъ могъ быть самимъ собой, гдѣ всѣ тѣ свойства, которыя вредили ему, какъ политику, служили на пользу ему. Плевако не ошибся профессіей; великое счастье, что онъ жилъ въ эпоху введенія новыхъ судовъ. Быть защитникомъ, уголовнымъ защитникомъ — было его призваніемъ. Всѣ его особенности и даже его недостатки помогали ему въ этой дѣятельности. Настоящимъ дѣломъ, въ которомъ проявлялась вся его мощь и все его своеобразіе, было предстательство за того, кто былъ виноватъ, кто совершилъ преступленіе. Плевако не такъ интересенъ, когда онъ толкуетъ законъ или разбираетъ улики, доказываетъ ошибочность обвиненія; здѣсь онъ можетъ быть и находчивымъ, и сильнымъ, и убѣдительнымъ, но не въ этомъ исключительность его дарованія. Она проявлялась тогда, когда дѣло было не въ уликахъ, не въ спорѣ о доказательствахъ, — когда все было ясно, преступленіе несомнѣнно, преступникъ изобличенъ и шла рѣчь о возмездіи, о наказаніи.

Въ эти минуты Плевако былъ незамѣнимъ; не тѣмъ, что не ломая себя, не по закону, а по склонности и привычкѣ онъ умѣлъ проникаться интересомъ, горемъ, страданіемъ того, кого защищалъ; не тѣмъ, что опять-таки не по расчету, а только оставаясь самимъ собой, онъ сразу въ каждомъ видѣлъ то хорошее, что, можетъ быть, другимъ не было видно; а болѣе всего тѣмъ, что вся его манера, міровоззрѣніе, личность создавали своеобразную атмосферу, которая имъ вносилась въ каждый процессъ.

Онъ не зналъ тѣхъ пристрастій, отъ которыхъ мѣняется оцѣнка человѣческихъ дѣйствій и личности; не понималъ, чтобы то, что было дозволено въ однѣхъ цѣляхъ, было запрещено для другихъ, чтобы мы сами могли дѣлать то, что въ другихъ осуждали. Та мораль готтентота, надъ которой всѣ смѣются, но которой всѣ слѣдуютъ не только въ политической, но во всякой борьбѣ, была ему совершенно чужда. Да и вся манера его вести судебный процессъ не напоминала борьбы; онъ не смотрѣлъ на другихъ, какъ на противниковъ, не умѣлъ считать себя стороной. Подсудимый и прокуроръ, любилъ онъ говорить, — вотъ это стороны. Себя же я считаю 13 присяжнымъ съ совѣщательнымъ голосомъ, говорю не отъ имени подсудимаго, а какъ судья долженъ думать и говорить на моемъ мѣстѣ.

Эта манера естественная и непридуманная, вносила въ процессъ, гдѣ онъ участвовалъ, совсѣмъ исключительное настроеніе спокойствія и общаго доброжелательства. Оно сказывалось, во-первыхъ, въ отношеніяхъ съ судьями. Критики Плевако часто указываютъ, что благодаря его положенію, имени, связямъ отношенія судей къ нему были совершенно иныя, что ему позволялось то, чего не позволялось другимъ. Здѣсь есть доля правды; но она неполна. Вѣдь ту же уступчивость судьи обнаруживаютъ часто и къ другимъ знаменитостямъ; но въ отношеніи ихъ къ Плевако было нѣчто особое, что больше всего объяснялось тѣмъ, что это отношеніе было взаимно. Самъ Плевако не сумѣлъ бы настроить себя на враждебное, недовѣрчивое къ нимъ отношеніе; онъ всегда искренно и глубоко вѣрилъ въ ихъ справедливость, безпристрастность, добросовѣстность, непредвзятое отношеніе къ дѣлу. Въ немъ никогда не было того, что мы постоянно замѣчаемъ въ себѣ: опасенія, что у судей уже готовъ приговоръ, что онъ ему продиктованъ. Плевако никогда не принималъ участія въ обсужденіи вопроса, кого надо отвести, кого нужно бояться. Онъ всегда считалъ всѣхъ людей справедливыми, а ихъ приговоръ добросовѣстнымъ; и если онъ это говорилъ въ своей рѣчи, какъ я цитировалъ въ рѣчи по дѣлу кн. Грузинскаго, то это не было ни лестью, ни риторической «captatio benevolentiae»; это было искреннимъ убѣжденіемъ. Какъ часто мы говоримъ

тѣ же слова, но говоримъ однимъ языкомъ, не придавая имъ вѣры; мы знаемъ, что есть судьи тенденціозные, пристрастные и запуганные. Мы готовы повсюду видѣть доказательства этого. Приговоръ для насъ непріятный мы нерѣдко объясняемъ этой причиной и искренно на него негодуемъ. Совершенно не таковъ былъ Плевако. Какъ до процесса онъ вѣрилъ судьѣ, такъ и послѣ него онъ приговоромъ не возмущался. Онъ могъ съ нимъ не соглашаться, и не больше; помню я одинъ громкій гражданскій процессъ, проигранный имъ вмѣстѣ съ другимъ адвокатомъ, тоже человѣкомъ очень опытнымъ и вліятельнымъ; въ то время какъ тотъ выходилъ изъ себя, искренно убѣжденный, что судьи были упрошены, что дѣло не обошлось безъ вліянія, Плевако съ какой-то досадой открещивался отъ такихъ объясненій и ни на минуту не потерялъ къ тѣмъ, кто рѣшилъ противъ него, ни капли прежняго уваженія. И все это чувствовалось и устанавливало на судѣ ту атмосферу дружелюбія, вниманія, взаимнаго довѣрія, при которой дозволяется много болѣе, чѣмъ въ моментъ открытой или затаенной борьбы.

И та же атмосфера мира распространялась и на другихъ участниковъ процесса — и на прокурора и на свидѣтелей.

Отношеніе Плевако къ послѣднимъ было крайне характерно; онъ относился къ нимъ безъ всякаго предубѣжденія, независимо отъ того, кто ихъ вызвалъ, кому они нужны въ процессѣ. У него не было обычая раздѣленія ихъ на двѣ группы, смотря по тому, чью они пользу показываютъ, съ полнымъ довѣріемъ къ одной группѣ и недовѣріемъ къ другой. Онъ былъ всегда убѣжденъ, что свидѣтель говоритъ искренно. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ не могъ принять его показанія, онъ старался объ одномъ: понять, почему онъ ошибся. Ему чужды были обычные пріемы ихъ обличенія; рѣдко прибѣгалъ онъ къ шаблонному средству — оглашенію прежняго показанія. И это не только потому, что онъ обыкновенно плохо зналъ дѣло; даже въ тѣхъ случаяхъ, когда ему на это указывали, онъ отвѣчалъ: «Чего же вы хотите; времени прошло много, онъ могъ позабыть». «Я не понимаю, — говорилъ онъ мнѣ однажды, — чего вы добива-

тесь, уличая свидѣтелей такимъ образомъ, только открываете прокурору дорогу дѣйствовать тѣмъ же путемъ». И въ этомъ замѣчаніи сказывался весь Плевако, который не допускалъ, чтобы одинъ и тотъ же вопросъ о преимуществѣ предварительнаго или судебнаго слѣдствія могъ разрѣшаться неодинаково оттого, что было нужно по ходу процесса. Показанія свидѣтелей, даже самыхъ опасныхъ, въ немъ не возбуждали досады; ни въ способѣ допроса, ни даже въ тонѣ не сказывалось желанія ихъ вышутить, высмѣять, опровергнуть. Я не говорю о тѣхъ рѣдкихъ, крайне рѣдкихъ случаяхъ, когда становилось ясно, что мы имѣемъ дѣло съ сознательнымъ лжесвидѣтелемъ, когда Плевако могъ это утверждать прямо, не намекая; онъ тогда и дѣлалъ это открыто, не полунамеками, не экивоками. Но когда этого онъ не могъ, то вся манера его показывала, что онъ имъ вѣритъ всецѣло, хочетъ знать всю правду, какова бы она ни была. Вообще при судебномъ слѣдствіи онъ не былъ многорѣчивъ; задавалъ не много вопрсовъ. Но онъ никогда не заботился о томъ, чтобы получить только тотъ отвѣтъ, котораго ждалъ, который вошелъ въ планъ защиты; сюрпризовъ, которыхъ даетъ слишкомъ упорный допросъ, онъ никогда не боялся. «Почему вы боитесь правды?» — отвѣтилъ онъ мнѣ разъ, когда я совѣтовалъ ему поскорѣй отпустить свидѣтеля, чтобы онъ не испортилъ произведеннаго впечатлѣнія. «Вамъ непремѣнно хочется, чтобы она была тамъ, гдѣ вы ее видите, а вы берите ее, гдѣ она есть». И это довѣрчивое, полное вниманія, полное уваженія отношенія Плевако ко всякому свидѣтельскому показанію, какъ бы ни казалось оно враждебно его интересамъ, подкупало не только судей, но и самихъ свидѣтелей; даже тѣ, показанія которыхъ онъ потомъ безпощадно разбивалъ въ своей рѣчи, сохраняли къ нему не досаду, не непріязнь, а благодарное чувство.

Нужно ли говорить, что еще въ большей степени это сказывалось въ его отношеніи къ обвинителямъ? Плевако былъ совершеннымъ джентльменомъ въ пріемахъ судебнаго спора; шелъ навстрѣчу всякому желанію, не старался ни подловить, ни использовать малѣйшаго промаха; никогда не возражалъ тамъ, гдѣ имѣлъ право не возражать. Это

невольно вынуждало на подобное же и къ себѣ отношеніе. Тѣмъ большее впечатлѣніе производили тѣ рѣдкіе случаи, когда, выведенный изъ себя явной несправедливостью, онъ обрушивался на прокурора. Таковъ, напр., финалъ рѣчи въ защиту кн. Оболенскаго, направленный имъ на знаменитаго обвинителя А. А. Іогансона: «Ввѣряя мечъ на защиту закона своему «оку», — говоритъ Плевако, — государство считало, что хранитель самъ соблюдетъ тѣ правила рыцарской морали, которыя требуютъ условій равноправія въ борьбѣ и битвѣ на равномъ оружіи. Судъ — не война. Тамъ, озабоченная сокрушеніемъ вражьей дерзости, величіемъ и славой отечества, государственная власть возводитъ въ подвигъ всѣ мѣры, отъ минъ и подкоповъ до засадъ и вылазокъ, которыми разумный военачальникъ сокрушаетъ непріятеля и охраняетъ жизнь ввѣренныхъ ему защитниковъ отечества. Но въ судебномъ бою другія условія: подсудимый—сынъ своей страны и, можетъ быть, нашъ несчастный, можетъ быть, еще гонимый братъ. Законъ столь же думаетъ о немъ, сколь и о необходимости кары дѣйствительному злодѣю. Отсюда его забота о дарованіи подсудимому всѣхъ средствъ оправданія, отсюда его милосердіе, растворяющее строгость кары. Процессъ принимаетъ видъ не истребленія, а поединка между охраной закона и охраной личной чести. Допускаемыя въ бою мины и засады, вылазки и диверсіи здѣсь не у мѣста».

Въ полной гармоніи со всѣмъ вышесказаннымъ было и отношенія его къ подзащитному; трудно оцѣнить въ достаточной мѣрѣ, какъ подкупала въ Плевако эта ровность, одинаковость въ отношеніи къ людямъ. Когда защитникъ хвалитъ достоинства своего подзащитнаго, предлагаетъ вѣрить его объясненіямъ, превозноситъ ихъ искренность и въ то же время относится съ негодованіемъ къ прокурору, съ подозрительностью къ свидѣтелямъ, съ недовѣріемъ къ судьямъ, когда по всему его поведенію ясно, что изъ всѣхъ находящихся въ залѣ — кромѣ себя самого — онъ считаетъ достойнымъ уваженія только одного подсудимаго — такое отношеніе всегда подозрительно; имъ нельзя никого заразить. Иное было съ Плевако. Тотъ же пронизанный уваженіемъ къ человѣку взглядъ, съ которымъ онъ смотрѣлъ

на другихъ, на тѣхъ, съ кѣмъ спорилъ, кто вышелъ ему возражать, тотъ же взглядъ съ тѣмъ же сочувствіемъ и довѣріемъ онъ устремлялъ и на того, съ кѣмъ случалась бѣда, на подсудимаго. И для этого ему не нужно было никакого насилія надъ собой; такъ онъ смотрѣлъ на всѣхъ, иначе смотрѣть не умѣлъ; всякій участникъ процесса чувствовалъ, что не поставленная передъ адвокатомъ задача опредѣлила его слова или мысли. Онъ былъ только самимъ собой и то, что онъ говорилъ про подсудимаго, было лишь естественнымъ отраженіемъ его общаго взгляда.

А этотъ взглядъ былъ таковъ, что прощеніе виноватаго казалось не милосердіемъ, а самымъ простымъ и радостнымъ дѣломъ. Къ согрѣшившему и кающемуся человѣку Плевако не могъ не чувствовать искренней жалости. Онъ зналъ, по себѣ зналъ силу страстей, ихъ непреодолимую власть надъ слабостью самой благонамѣренной воли; помню, какъ въ одномъ процессѣ, при закрытыхъ дверяхъ, онъ съ убѣжденіемъ напоминалъ присяжнымъ, что и царь Давидъ не устоялъ передъ соблазнами Варсавіи. Какъ человѣкъ глубоко, всѣмъ своимъ складомъ, религіозный, онъ вѣрилъ, что и несчастье и преступленье — попущеніе свыше, что они посланы Тѣмъ Руководителемъ нашей судьбы, безъ воли Котораго съ головы не падаетъ волоса; вѣрилъ, что никогда не поздо покаяться, что преступленіе — часто спасительный переломъ нашей жизни, залогъ возрожденія; что величайшіе дѣятели добра иногда выходили изъ рядовъ поборниковъ зла; что, — какъ любилъ говорить онъ, — Савлы часто становятся Павлами. Онъ смотрѣлъ на жизнь и людей съ высоты такого идеала, передъ которымъ всѣ одинаково грѣшны, одинаково жалки, гдѣ бросать камень, пожалуй, и некому, гдѣ чувство злобы поневолѣ смѣняется участіемъ и состраданіемъ. Согрѣшившій, но покаявшійся человѣкъ, обезвреженный, въ мощныхъ рукахъ государства, казался ему уже искупленіемъ того зла, которое онъ совершилъ. Онъ не переносилъ только тѣхъ, кто не каялся, не признавался, кто надѣялся ловкостью или связями обмануть правосудіе, тѣхъ, чье оправданіе было бы вторичнымъ торжествомъ преступленія. Въ этихъ случаяхъ добродушіе и милосердіе его пропадали, онъ выходилъ граждан-

скимъ истцомъ и гнѣвно срывалъ съ виноватыхъ лицемѣрныя маски, — какъ въ дѣлѣ игумена Митрофанія, Булахъ.

Пощада виновному, милосердіе, жалость — все это не только почтенныя, но понятныя чувства; но противъ нихъ разумъ выдвигаетъ рядъ аргументовъ столь же неотразимыхъ умомъ; интересъ государственнаго порядка, общественной безопасности, уваженіе къ закону и праву. Но Плевако не нужно было, какъ другимъ, въ угоду хорошему чувству на мгновеніе заглушать голосъ разума. Его христіанское міросозерцаніе устраняло трагизмъ такого конфликта. Личность, душа человѣка была для него въ центрѣ всего. Принести ее въ жертву нельзя ничему, ни во имя чего. О, онъ не затруднился бы отвѣтить на тотъ вопросъ о дозволенной жертвѣ съ цѣлью «осчастливить людей», дать имъ «миръ и покой», которымъ Иванъ Карамазовъ пыталъ Алексѣя.

Жизнь одного человѣка, — говоритъ онъ въ дѣлѣ Кострубо-Карацкаго, — дороже судьбы всякихъ реформъ; и это была не фраза, не риторическій оборотъ, это былъ настоящій Плевако. Самъ государственный порядокъ переставалъ быть цѣнностью, благомъ, когда онъ калѣчилъ человѣческую душу, права нашей природы. Онъ защищалъ одни фабричные безпорядки въ Орлѣ. Причина ихъ была слѣдующая. Стражникъ по неосторожности убилъ мальчика на заводѣ; его трупъ былъ отнесенъ въ казармы и волновалъ населеніе. Чтобы прекратить возбужденіе, полиція пришла взять трупъ у родителей. Возникъ такимъ образомъ конфликтъ между чувствомъ матери и интересами государства. «И вы думаете, — сказалъ палатѣ Плевако, — что такихъ предписаній слушаютъ? Два дня не простоитъ государство, гдѣ такія требованія исполнялись бы!» Недаромъ Плевако много занимался религіозной исторіей, смѣнами и паденіемъ царствъ. Условную цѣнность государственнаго благополучія онъ не могъ ставить выше безусловной цѣнности человѣческой личности; никакое государственное благо не могло сравниться съ долгомъ спасти погибающаго, съ счастьемъ прощенія. Пощада преступнику для него была не сантиментальностью слабонервнаго человѣка, не жестокой чувствительностью, по мѣткому выра-

женію Кони; это было сущностью того міровоззрѣнія, которое покоилось на всемъ складѣ его мышленія, опредѣляло и его интересы и его отношеніе къ людямъ; было не пріемомъ ad hoc, не софистическимъ ухищреніемъ; эта точка зрѣнія родилась далеко отъ судебной борьбы, на тѣхъ высотахъ религіознаго пониманія міра, къ которымъ всѣмъ своимъ существомъ тяготѣлъ и жилъ духомъ Плевако.

И это больше, чѣмъ могучій даръ его слова, давало силу ему. Если строить защиту на безполезности наказанія, на христіанскомъ прощеніи, аргументировать этими доводами, ставя точки на і, — это отклика на судѣ не найдетъ; это кажется безшабашностью адвоката, который не останавливается ни передъ чѣмъ для пользы кліента. И такая рѣчь была бы безъ затрудненія остановлена предсѣдателемъ. Плевако этого и не говорилъ; его взглядъ былъ не столько связной доктриной, сколько непосредственнымъ чувствомъ; по инстинкту, по чувству онъ былъ анархистомъ, хотя умомъ признавалъ и государство, и необходимость суда и только въ каждомъ данномъ случаѣ отстаивалъ его право на милосердіе, его право слушаться голоса совѣсти. И къ этой совѣсти онъ обращался не рѣчью, не доводами, а всѣмъ своимъ поведеніемъ, своимъ отношеніемъ къ врагамъ и союзникамъ. Слушатели поражались не отдѣльными словами, не аргументами; они наталкивались на цѣлое пониманіе и, что самое главное, воочію видѣли его живого носителя. Онъ могъ многаго не говорить; судьи имѣли примѣръ наглядnаго обученія; изъ всѣхъ мелочей его поведенія они узнавали и усваивали его точку зрѣнія, проникались его настроеніемъ. Они невольно сами приходили туда, къ первоисточнику, откуда вытекало то міровоззрѣніе, которое они созерцали. Онъ съ мѣста отрывалъ ихъ отъ привычныхъ житейскихъ пріемовъ мышленія, поднималъ на ту высоту, съ которой самъ смотрѣлъ на людей, гдѣ милосердіе становится не государственной слабостью, не равнодушіемъ ко злу, а дорогой и радостной потребностью человѣческой совѣсти. Его рѣчь производила успокоительное и отрадное впечатлѣніе; она уносила туда, гдѣ можно было жалѣть подсудимаго, не ссорясь съ правосудіемъ, гдѣ роковой конфликтъ между государственнымъ долгомъ и закономъ любви и прощенія

переставалъ безпокоить, и обычный взглядъ на необходимость возмездія начиналъ казаться чѣмъ-то мелкимъ и жалкимъ.

Во всѣхъ пріемахъ защиты Плевако обращался къ лучшимъ человѣческимъ чувствамъ; но этого мало; онъ на время дѣлалъ самихъ слушателей лучше, чѣмъ они были, заставлялъ ихъ переживать минуты того высокаго настроенія, которое мы испытываемъ только изрѣдка, въ тѣ незабываемые моменты душевныхъ подъемовъ, въ которые каждый изъ насъ познаетъ то дорогое и лучшее, чѣмъ могла бы и должна была бы быть жизнь человѣка. Плевако умѣлъ открывать въ человѣкѣ то, что въ немъ было закрыто отъ него самого; его слушатели вдругъ освобождались отъ будничныхъ взглядовъ, постигали, что счастье и благо не тамъ, гдѣ они его видѣли, что, по слову Евангелія, нѣтъ пользы тому, кто весь міръ пріобрѣтетъ, а душу погубитъ; въ нихъ ослабѣвало желаніе мести, злоба на виноватаго, даже тревога за порядокъ и безопасность; они начинали испытывать ту радость собственнаго просвѣтлѣнія, которое даютъ человѣку минуты душевныхъ потрясеній, молитва, моральный экстазъ. Обычная жизнь съ ея суетой заглушаетъ въ насъ и эти чувства и эту способность; Плевако властно воскрешалъ ее въ самыхъ заскорузлыхъ сердцахъ; этого ему не забывали. И когда его слушателей въ этотъ моментъ спрашивали, нужно ли казнить и наказывать, они радостно отъ всей души отвѣчали: не нужно. И то чувство, съ которымъ его покидали судьи, имъ убѣжденные, было не только восхищеніе передъ талантомъ, а радостная и умиленная къ нему благодарность за счастье, имъ испытанное.

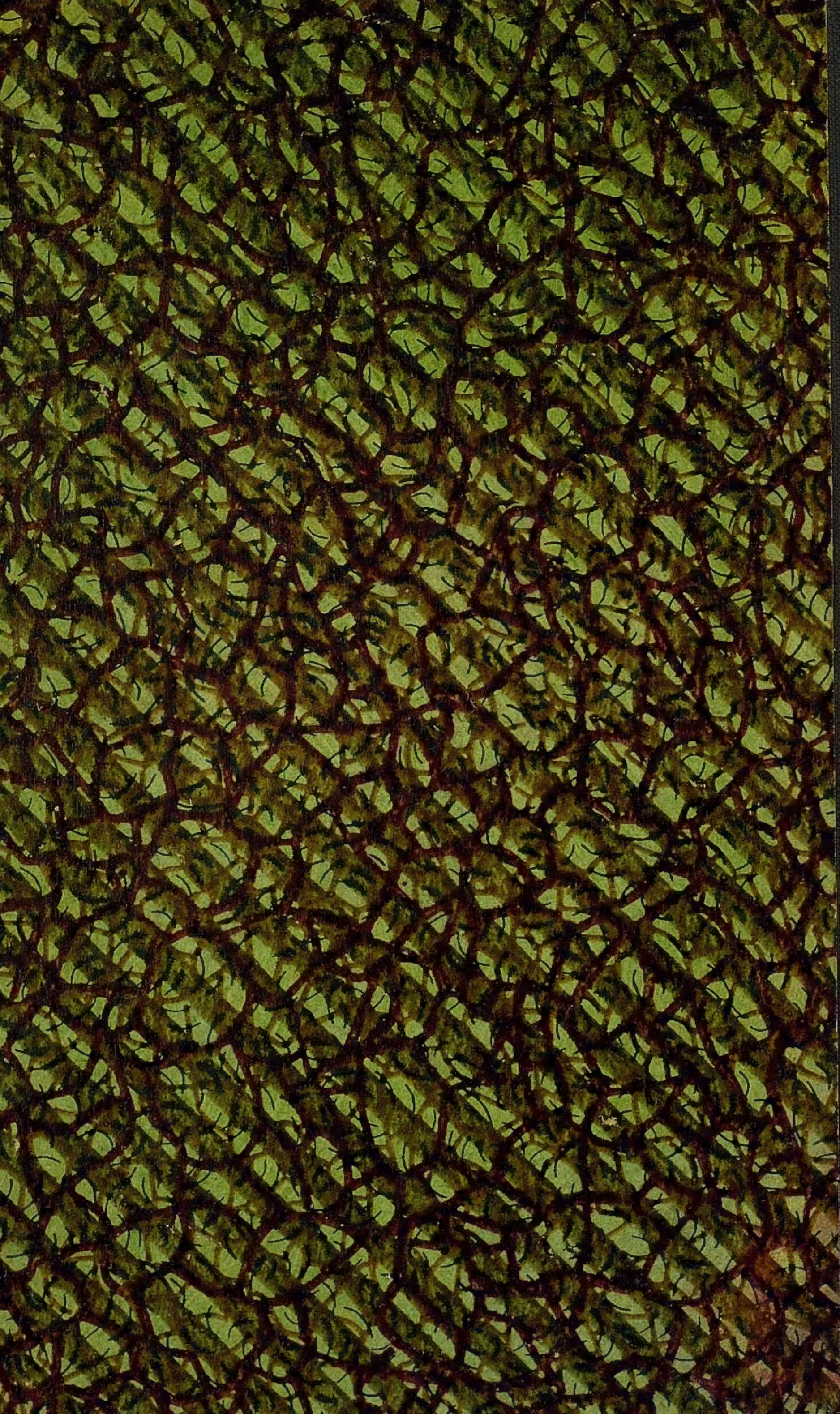
Это умѣнье создало не только чарующую, неотразимую силу оратора, его доступность простой народной душѣ, съ которой у него было такъ много общаго; оно создало его своеобразіе. Можно многому научиться, и логикѣ, и риторикѣ, и настоящему краснорѣчію. Но нельзя научиться такому пониманію жизни, такому отношенію къ людямъ; чтобы быть такимъ ораторомъ, какимъ былъ Плевако, надо было быть такимъ, какъ онъ, человѣкомъ, не по таланту, не по дару слова—все это второстепенное,—а по его духовному облику, любви къ человѣку, неспособности къ свя-

тої и даже простительної ненависти, по тому умѣнью смотрѣть на вещи глазами не отъ міра сего, которые дѣлали его такимъ непохожимъ на прочихъ.

Онъ долго останется какої-то загадкой, чѣмъ-то единственнымъ, чуждымъ намъ по душевному складу, но и безконечно дорогимъ, волшебникомъ, умѣвшимъ навѣвать на насъ настроеніе, которое жизнь въ насъ задавила, ключъ къ которому мы потеряли, по которымъ мы съ радостнымъ и благодарнымъ изумленіемъ вдругъ на время отъ него заражались.

На этомъ я кончу мое сообщеніе; знаю, что оно далеко не исчерпало вопроса, не исчерпало даже того, что я самъ могъ о немъ разсказать. Но я не задавался цѣлью дать что-либо цѣльное. И притомъ личность Плевако такъ сложна, что одолѣть ее одному не подъ силу. Но пока живы воспоминанія, не надо дать имъ остыть. Въ концѣ-концовъ, быть можетъ, только они помогутъ разгадать ту загадку, которую являлъ собою Плевако. Жизнь его сопровождалась внѣшнимъ успѣхомъ. Изъ полунищаго юноши, прибывшаго въ Москву изъ Оренбургской губерніи съ неграмотной матерью, онъ сумѣлъ стать знаменитостью, первымъ адвокатомъ Россіи, добиться и дворянства, и генеральскаго чина. И тѣмъ не менѣе этотъ внѣшній успѣхъ все-таки не уничтожилъ сознанія, что онъ далъ не все, что могъ дать; что его жизнь — эмблема нашей дѣятельности, которая одинаково показываетъ, и какъ могуче можетъ быть дарованіе, и какъ оно можетъ не найти примѣненія. Несмотря на всѣ тріумфы свои, Плевако остался показателемъ скорѣе возможности, чѣмъ осуществленія. Онъ стоилъ все-таки дороже, чѣмъ его оцѣнила русская жизнь. Какія свойства его или современнаго общества были причиной тому, я судить не хочу; это могло бы быть темой другого доклада. Я отмѣчаю только, что это такъ было. Его фигура была такъ своеобразна, необычна, что, несмотря на все обиліе друзей и знакомыхъ, онъ жилъ одинокимъ и умеръ однимъ. И какіе бы круги и теченія послѣ его смерти ни предъявили на него своихъ притязаній, ни одному изъ нихъ онъ не принадлежалъ; всякое клеймо испортитъ обаяніе его оригинальной фигуры. Она еще жива въ памяти людей его знавшихъ; но время и на нее наведетъ свой шаблонъ.

Видѣть въ Плевако типичнаго адвоката или политическаго дѣятеля — какъ это уже писали въ его некрологахъ — значитъ не понимать, что такое онъ былъ. И если о немъ сохранится только подобная память, это будетъ равносильно забвенію. И мнѣ хотѣлось пока закрѣпить нѣсколько штриховъ или черточекъ, которые скорѣе всего унесены будутъ временемъ.

*В. Маклаковъ.*

Московская Центральная
Публичная библиотека